

**А.С. Тыренко**

# ***СудьбоНос***

*За былью — быль*

**Москва  
2008**

**УДК 882**  
**ББК 84 (2Рос-Рус)**  
**Т93**

**Т93 А.С. Тыренко**

“СудьбоНос”

М.: ООО ИПЦ “Маска”. 2008 — 214 с.

ISBN 978-5-91146-198-0

Непривычные рассказы про узнаваемую жизнь. Если она вам не понравится, вы легко придумаете себе другую. Потому что у вас богатое воображение. В отличие от автора, который в молодости гонял на самосвале и вообразить не мог, чем это кончится. Понял лишь после того, как все дураки вокруг возвелись в учёную степень. Вот и по поводу предлагаемого сборника решение пришло, когда все умные уже издавались.

**ISBN 978-5-91146-198-0©**

**А.С. Тыренко А.С. 2008**



## Содержание

<b><i>Новогодние загулямы</i></b>	<b>5</b>
СудьбоНос	7
Хахатунь	10
Куранты в мочёных яблоках	13
<b><i>Про Альку</i></b>	<b>21</b>
Лопух	23
Малинка	24
Сберегательный штепсель	26
Пионерлагерь имени Сберкасс	32
<b><i>Недостижимо близкие</i></b>	<b>37</b>
Шашлык по-крылатски	39
Верунчик	42
Троллейбусный гамбит	44
Игра в ящик	47
(Без)родные космополиты	48
Летайте трамваями “Аэрофлота!”	49
Породнённые и породнители	51
Попугный ветер отторженья	58
Сёстры во Москве	62
Как хорошо быть стенолазом!	70
Вид шлюбу до шлюбу	71
Маша и Медведь	74

<b>Города, где я бывал</b>	<b>77</b>
Из Москвы в Ленинбург	79
За солнцем в Прибалтику. Верхом на <i>Украине</i>	82
Отмороженный лыжник на родине Ильича	87
Шапка-неедимка	92
Град неукусибельный	99
Атомовозный тракт для курносых брюнеток	106
<b>В зубах у дарёного коня</b>	<b>111</b>
Диссертабельная шея	113
Глаз на анализ	117
Купи патрон у автомата	119
Коленчатый гВАЛт	120
Полный обезбол!	123
<b>За былью — быль</b>	<b>127</b>
Два рубля на босу ногу	129
Дырка от железного занавеса	131
Противоракетница на сносях	138
Кран Василия Блаженного	142
Ты — моё желание	146
Язык фиолетовый. Восьми лет	147
На чём ездит соловей?	149
Добровольные штаны в ОПОПе	152
Вавилонская шашня	153
Шизокрыл под кроватью	154
4 x 5, с запахом Мендельсона	155
Новичок из-под стадиона	158
Детский мир	172
<b>Всю жизнь тому назад</b>	<b>173</b>
На траве — дрова, на дворе — война	175
Я вам расскажу свою Одессу	184
Ах, необыкновенная, Москва послевоенная	194

***Новогодние  
загулямсы***



## Судьбонос

Сейчас такую тусовку обозвали бы корпоративной вечеринкой. Тогда, в эпоху ускоренного застоя, случился просто предновогодний вечер. А может, и предоктябрьский. Точно не помню. Хотя ёлка в зале росла. Из бадьи. Круглый год. Ещё зима была. Потому как пальто надо было оставлять в гардеробе. На первом этаже. В зал, на пятый этаж, — без лифта.

Вечер, как повелось, — на троих. Один на три НИИ сразу. Благо все три — соседи. Каждая контора занимала свою типувуху на научном хуторе. В самом центре. Новых Черёмушек. Две типувухи стояли вдоль, остальная — поперёк. Внутри — всё типово, до однойцевости.

Время было уже не строгое. Но каникул вместо понедельника ещё не выдумали. Выдумцы тогда были без нынешнего воображения. Даже праздник не присоединяли к воскресенью, на которое он, по несчастью, припадал. Хотя суббота уже давно выходной считалась. Поэтому всё, что нужно, официально праздновали в пятницу. От которой к понедельнику — никакого запаха.

Сидим мы — уже без запаха — и вполне мечтательно работаем. Двумя отделами, в одной двухдверной комнате на втором этаже. Вдруг за нашей общей спиной кто-то дверью безоговорочно взмахивает и по конвойному — р-р-раз: "Всем смотреть сюда!" Мы сдуру-то и повернулись. Будто вздрогнули. Не будто — тоже вздрогнули. У дверей стояла тройка. Не лошажья, а особая. Завша особым отделом, пожилая вахтерица

и некто в непонятной форме. Такие для понятности всегда в штатском работали. А в тот год их впервые формой наградили.

Вахтерица торжественно возорала и ткнула пальцем: "Вот он, вот он!" Ну, и проводили меня. Всякими взглядами. От просительных и восклицательных до кивательных и утвердительных. Ведут, изумлённого, совсем недалеко и сходу шьют мне... соседнюю дверь. Она взломана и свободно открывается — вопреки замкам с печатями. Но это во-вторых. Поскольку, во-первых, она окована — для негорючести — оцинкованным железом и, стало быть, за ней — особый отдел! Куда меня и водворяют.

Нештатский велел рассказывать. Оставил я его безутешным. Ни эта дверь, ни сам ОО (две буквы, а не две цифры) мне ни о чём пятничном не напомнили. Не порадовала дознавателя и вахтерица. Она честно бдела перед праздником в своём закуте на первом этаже. Но теперь только тыкала несгибаемым перстом: "Он, злодей, мимо меня шастанул да ещё дразнился!" Для убедительности она попыталась воспроизвести дразнилку. Будто мне это поможет вспомнить злодеяние, а гэбисту — уличить злодея по сходству артикуляции. Дознаватель соскучился и почти без надежды попытал дознавательского счастья у хозяйки кабинета: "Что пропало-то?" Та, хоть и урежимленная вся, а ляпнула попросту: "Да ничего. Шкафы опечатанные не тронуты. На столе в шапке три рубля лежали. Так они там и есть". Гэбист засвирипел.

— Тогда за каким ... вы меня вызывали?

— Так дверь же сломана.

— А я что, чинить её вам буду?

Особисты ещё препирались на своём, особом, языке (см. многоточие). Но я уже понял, что им не до меня. Благо дверь, сами понимаете...



С той поры который год пребываю в сомнении. Потому что многого не помнил уже в тот понедельник. Не говоря уж о теперь. Да что в понедельник! К исходу предпраздничной пятницы напрочь забыл, в какой типовухе оставил пальто: в своей или в дальней, где навечерялись. Метался из одной в другую. Наверняка и на вахтерицу мог косо дыхнуть. Вид её мне будто знакомый. Пальто нашлось. Правда, где и когда, — хоть убей! Опять же, ОО (две буквы) и 00 (две цифры) за просто перепутать мог: двери-то рядом. А ежели нужная дверь не поддаётся? Ну, о-очень нужная... Это ж только вскрытие могло показать, что там — ничего нужного.

Переть сквозь оцинкованное железо вздумал, возможно, вовсе не я. Даже наверняка не я. Вот лет за десять до того, тоже под Новый год, остеклённую дверь носом проткнул — точно я. Потому что на другой день даже на работу не пошёл. Куда ж с таким носом? Опять же, пригласили нас поспраздновать. А не двери носом протыкать. В общежитии для молодых специалистов. Ульяновского автозавода. Не мог же я юную заводскую интеллигенцию покорёженным моральным обликом от посленовогодней трудовой вахты отвлекать. Так неделю дома и просидел. Пока облик не морализовался.

На днях мне сказали, что нос у человека растёт всю жизнь. Как волосы, ногти и прочие роговые украшения. Про человека не знаю, но про себя — очень даже верю. Особенно в профиль. Ещё поют, будто *мы рождены, чтоб сказку сделать былью*. Если это правда, то лично я рождён уже не зря. Помните, один сказочно носастый проткнул дырку в нарисованном очаге?

## Хахатунь

*По морозу босиком  
К милому ходила.  
Из песни.*

Когда Скороход дочертил последний лист её нефтеперегонного диплома, Зойка сказала: "Теперь, как порядочный человек, ты просто обязан познакомиться с моей мамой. Иначе она не поверит, что между нами ничего не было". Скороход не возражал. С детства он знал, что у чужой мамы щи всегда с мясом. Потому что редко и в гостях. А не каждый день и дома. Где голодное шестиглазое сияние никакого нового впечатления на мать уже не производило.

Чужих мам это сияние пугало. Именно с перепугу они Скороходу отваливали лучшее. А вовсе не за его способность одолевать учебные препоны вместо их чад. Когда, например, надо было скорострельно настроичить контрольные в архитектурный техникум. Сдать экстерном литературу на аттестат зрелости. Проскочить вступительные в среднестатистическом вузе. Изобразить схему готовки блюд за выпускницу кулинарного училища. Полузадушенно прятать произношение на экзамене по немецкому в машинотроительном институте. Сочинить страстный реферат по истории партии. Собрать в диссертательную кучу и оцифровать разнокалиберную макулатуру по педагогике. Но это уж потом.

Теперь же, после рисования *ректификационных колонн* и разных прочих *скрубберов*, Скороходу ярко лыбился вроде как семейный праздник на троих. В деревне Хахатунь. Километров семьдесят электричкой, а от станции рукой подать, минут двадцать. Если повезёт, то и на автобусе можно.

Им повезло. Автобус ходил каждую субботу. Когда они вылезли из поезда, оставалось всего четыре часа. До субботы. Не дурные, чтоб столько ждать из-за двадцати минут ходу. Двинулись в темь. Зойка дорогу помнила с детства. Вот-вот будет пост ГАИ, потом направо, затем налево, и вот она, деревня.

Зойка цокала шпильками сапог вслед за бойким Скороходом. Он жизнеутверждающе шлёпал по асфальту китайскими кедами. Начальное *вот-вот* они одолели за час с чем-то. Судя по темпу, до ГАИ оказалось километров шесть. Скороход на всякий случай попытал ГАИшников за предстоящий путь. Всё сходилось: тут направо, через три километра налево, а там ещё километров десять.

Рычать на Зойку за её якобы двадцать минут смысла не было. На шпильках она не ходок. Поразительно, как она сюда-то на них дотарахтела. Ночевать на перекрёстке не станешь. Назад не многим ближе, чем вперёд. На себе Зойку не дотащишь. Скороход распаковал транзистор. Врубился марш. Транзистор повис на шее. Сапоги повисли на антенне. Зойка повисла на задней руке Скорохода. Под марш Зойка неумно рыдала о вязаных колготках. Перестала, когда поняла, что уже идёт босиком.

За левым поворотом горел костёр. Завтрашние пассажиры грелись в ожидании автобуса. Звали в компанию. Даже делали вид, что наливают. Наши странники сделали вид, что не пьют, и двинулись дальше. До без пяти двенадцать оставалось два часа. Скороход восхищённо материл Зойку. Хоть и сквозь слёзы, но ни разу не сбилась с дороги. Даже когда выяснилось,

что Хахатуней не одна, а две: ближняя и дальняя. Для них свет горел в ближней.

До полуночи Скороход ещё успел смыть с себя дорожную пыль прошлогодним снегом. Зойку дожидалось ведро воды на плите. Зойкина мать не знала, что между ними ничего не было, и постелила раздельно. Скороход этого даже не заметил. Зойка мгновенно угнездилась у него между коленкой и локтем. Не потому, что маленькая, а потому, что больше нигде. Уже засыпая, он шёпотом спросил её за те самые двадцать минут. Лениво ответила: “Ну, какая теперь-то разница? Двадцать минут или двадцать вёрст — на попутной “Волге” это одно и то же.”

Утром на ней откуда-то взялась пижама. Хотя ночью — он точно помнит — между ними ничего не было!

Они позавтракали нетронутым праздничным ужином и вышли в свет. Ночью казалось, что в деревне всего один дом. Днём, однако, она предстала многодымной и многолюдной. Среди селян мелькнули и ночные знакомцы. Скороход повёл Зойку подальше от суеты. Привал устроили уже в лесу. С зимней одежкой управились так, чтобы между ними опять ничего не было. Потом на него напал голодун. Зойка кормила его рябиной.

Какой дурак выдумал сказку о сладкой ягоде? — Мороженая рябина была куда гаже летней. Мало того, не от неё ли у Скорохода случился провал в памяти? До сих пор не помнит обратной дороги. То ли был автобус, то ли не было. То ли была Зойка, то ли осталась гостевать.

Иногда ему кажется, что вся история приключилась и во все лето. Что не сапоги были, а босоножки. Что костёр на дороге жгли грибки. Что не снегом отмывался, а дождевой водой из бочки. Одно помнит точно: было, было так, что между ними ничего не было.

## Куранты в мочёных яблоках

Ночь. Лес. Снег. Сверху и по колено. Торю во тьме. Фонарик давно сел. Теряю просеку, забиваюсь в кусты, сдаю назад, пихаю задники лыж "против шерсти". Сползаю в ямы и выгребаю наверх. Тяжко! Терплю и выматываюсь. Сзади пыхтит команда. В ней я самый старей. А потому для остальных — вроде самый могучий. Но вот девчонка, которая ползёт во втором десятке, по умятой лыжне, в сотый раз пищит: "Подождите!" Закапываюсь в очередной завал, взрываюсь и не сразу понимаю, что безмолвно матюкаюсь в полный голос. Запоздало осекаюсь. Рафинированная массовка ошарашенно затихает. Становится слышно, как по инерции волокутся лыжи.

В голове всплывает: "Мудрость — это умение промолчать, когда твоего высказывания не ждут". Но до такого умения я даже теперь не дожил. А тогда зарделся и тем озарил дорогу впереди себя. В просвет ненадолго выдвинулся второй. Тоже могучий. Ну, или почти. Пока он упирался в темь по снежной целине, я очнулся. Настолько, что вспомнил, где я, с кем и почему.

В январе 1966-го, на матёром, 26-м году жизни, после армии, шофёрства и в разгар научного старта, случился для меня возврат в лыжное студенчество. "Въехал грека в ту же реку". Студент из меня был условный, т.е. вечерний и по второму сроку: ин'яз пришёлся уже после автомеханического, в котором если чему-то и научился, то бегать на лыжах. Да так, что даже

привык. Например к тому, что каникулы без тренировочных сборов недействительны. Поэтому не преминул ошастливить и ин'язную спорткафедру своим лыжным диагнозом. Оттуда послали. На лыжную базу при доме отдыха "Сходня". К тренеру.

Владимир Николаевич был весьма в духе. Как все русские люди, которых уже трое. Я не в счёт. Поскольку тренер радовался жизни вместе с двумя студентами. Радовался так щедро, что нисколько не огорчился, когда я вежливо отказался. В порыве взаимоудовольствия мы стремительно утрясли мою легитимность на предстоящих сборах. Она была подтверждена документально. Четвертным казначейским билетом. Кроме того, с меня было взято торжественное обещание посильно участвовать в благотворительном общекомандном сокрушении дров для кухни. Под это условие дирекция дома отдыха соглашалась на автономный статус иноговорящих лыжников. Официально они были равны всем прочим отдыхающим. Только гнездились кучно, на отшибе, заезжали и начинали кормиться на день раньше, зато уезжали и заканчивали — на день позже. Путёвочный 12-дневный срок подгонялся под двухнедельные каникулы. Ну, не наоборот же!

Зима торжествовала. Звёздные ночи, метельные дни. Каждое утро мы прокладывали себе лыжню заново. В.Н. вёл нас в дальний лес, на рабочую "восьмёрку", или гонял по ближнему кругу, с горы на гору. Могучесть мою ценил: часто доверял торить. Но "тракторную" технику моего лыжного хода, естественно, не принимал и, как мог, пытался её выположивать. Студентов жалел, щадил и печалился об их замороченности долбёжной учёбой. Считал, что его главная забота — их здоровье. А результаты приложатся. Он мог себе это позволить. Вуз числился в московском "Буревестнике" отнюдь не по первой группе. Не помню уж, какие места мы занимали. Но все выкладыва-

лись честно. Как тогда, на Сходне. Где любимой подначкой сразу стала цитата из В.Н.: "Бедро проталкивай!"

Он, меж тем, старательно оберегал упёртых в учёбу студентов от другой крайности: упёртости в лыжню. Проще говоря, не мешал им развлекаться и общаться по потребности. Каждый вечер лыжная база вздыхала апрелевским голосом Марлен Дитрих:

*Johnny,  
Wenn du Geburtstag hast,  
Bin ich bei dir zu Gast  
Die ganze N-n-nacht...*

Нет, кто хотел, конечно, книжки читал. Мне, например, дали посмотреть 'Das neue Ehebuch'. Вполне марксистское ГДРное пособие по личной жизни. Но в СССР и таких не было. Положим, диалектический экскурс к рабовладельческому строю я бегло пролистал. Зато пока медицинскую конкретику прорабатывал, даже забывал о тех, кого ради она могла бы стоиться. О танцующих рядом студентках. Кстати, ин'яз и его лыжную команду счастливо отличала от технического вуза уравновешенная демография. Ни тебе мужского засилья, ни женского недобора.

Возможно, поэтому тут не было ничего скоропостижного. Вроде того, что сразу после диплома и перед распределением в Тьмутаракань. Этого я насмотрелся в автомеханическом. Пять лет друг друга не замечали, а потом — ба-бах! — "Верьте нам, люди!" Хотя, может, я зря. Кто-то разводился, а кто-то очень даже наоборот. Одна дипломная лыжная пара надёжно процветает пятый десяток лет. Поскольку личная жизнь не отвлекала, то глава семейства быстренько облауреатился, а потом долго рулил огромным заводом.

Но всё же прелестные ин'язные союзы мне больше по душе. Потому что возникали от богатства выбора и естествен-

ной неизбежности. Нам бежалось и не моглось. Лара не могла без Жени, Женя — без Лены, Саша — без Лары, Кати, Нади и остальных. Без кого не могли братья Валя и Дима, не знал никто. Любили все! Некоторые даже во втором поколении.

Мне от всеобщей любви перепало чуть больше других. Однажды, накануне главной своей "тридцатки" в сезоне, безудержно и безрассудно наденьрожденлся. А может, даже женился, но дело не в этом. Гонялись мы тогда по утробинскому кругу, вверх-вниз, вдоль и поперёк речки Баньки. Только заходили на трассу не из Красногорска, а дальше, из Ново-Никольского. В селе этом прифабричном и растекались по домам.

Конечно, на дистанции я рассыпался на запчасти. Не дотянул до "посадочных огней" километров пять. Потерял управление и начал угрожающе бледнеть изнутри. Загремел с крутого спуска и ломанул обе лыжи. Обломки сгодились: когда вскарабкался на встречную гору, подложил их под себя на снег и улёгся. Вось! Жизнь понеслась мимо. Минут через десять измочаленно пропыхтел Женя. Полегчало: зачёт будет! Потом укатили все и меня подобрала зачистная команда. Вздыхнули на ноги, воткнули в чьи-то лыжи, нахлобучили чужую шапку, дали пинка и проследили, чтоб добрёл.

И случился в нашей команде праздник. Не потому, что место какое заняли или дата какая стряслась. А от изумления, что меня живём увидели. Вроде уже не чаяли. Ни до, ни после меня на лыжне так сильно не любили, как в тот миг, когда слух о павшем недоползence оказался сильно преувеличенным.

Вот так, в радостном изнурении и в неслышной любви, сложилась добрая компания. В ней со временем рождаются дети, а пока — только идеи. Например, Новый год — в деревне, деревня — у леса, по лесу — на лыжах, до леса — электричкой, провиант и музыку — с собой, ёлку — на месте, остальное —





само. Лишний домик в деревне нашёлся у Вали с Димой. Жили они в нём. За посторожить, пока хозяев нет. Вот и взбрело братьям вместе с нами поприблудничать. Все восторженно взвизгнули и... оказались под новый, 1968 год, в ночном лесу между Икшей и Каменкой.

Тут самое время раскрыть карты. Московской области. Карт этих тогда у народа практически не было. А те, что были, даже назывались не географическими, а как-то стыдливо, туристическими. Потому что перед изданием над ними обязаны были потрудиться спецы по намеренному антишпионскому искажению (НАШИ). Настоящая, суперсекретная карта нашлась у моего старшего брата. Он сохранил её со времён пионерлагеря при хозуправлении ЦК КПСС. В том лагере брат работал туринструктором. Эта двухкилометровка и сейчас висит у него на кухне. Поэтому я не смог её просканировать.

Нынешняя отличается тем, что чуть западнее Икши нет деревеньки Ртищево, по которой мы уже вовсю шуршали лыжами и пытали новогодних аборигенов за просеку до Хорошилова. Чтобы оттуда пройти через Старое до Каменки. Всего километров 12. Вроде пустык. Если всё время прямо и по карте. Однако, ночью. Впотьмах. По лесу. Без лыжни. По рыхлому снегу. С рюкзаками. На моей спине, к примеру, магнитофон ехал. Тогдашний, катушечный, на 8 кг. Да и ребята подгружены были не слабо. Но главное — никто ж дороги не знал! Валя и Дима ездили в свой домик на рейсовом автобусе из Москвы, по Рогачёвке. Только слышали, что де мол есть прямая дорога от Икши. Да ещё я с секретной картой подвернулся. Сам себе Сусанин. Прочим — невольный командор.

Ну, повёл я их. Сначала всем было счастье. Потому что первая деревня совпала с той, что на карте. Ртищево, значит. Укатанный просёлок меж домов тоже возрадовал. Как выйти к просеке, нам охотно объясняли все встречные. Хоть и Новый год, но они ещё были. Правда, показывали как-то странно. Не то чтобы в разные стороны. Но размытым, смутным жестом. Когда человек руку как бы раскрывает веером, которым заодно норовит обмахнуться. Всё же сектор поиска я по такой пластике худо-бедно определил. Заглубились мы в просеку. Может, и не в ту. Вы сами гляньте, сколько их на карте. Но двигаться надо. Во-первых, до курантов успеть. Во-вторых, не стоять же: замёрзнем. В-третьих, а вдруг, в ту?

Копытим мы сугробы час или больше. Судя по энерготратам, давно пора миновать Хорошилово. Но счастья больше нет. Карта явью не становится. Организмы иссякают, обмерзают и свирепеют с пол-оборота. Вот на эти пол-оборота мы их и повернули. Назад. Тем и спаслись. Неприлично быстро доскакали по собственному следу до Икши. Из какой-то сказки воз-

ник автобус и домчал нас по кольцевой бетонке до поворота на Рогачёвское шоссе. Из той же сказки на шоссе повалил такой снег, что ехать по нему можно было только на лыжах. Во всяком случае ни одна машина нас не обогнала. Восемь вёрст до Каменки мы одолели чуть ли не наперегонки друг с другом. Пискалявую я волок на буксире, сооружённом из её же лыжных палок.

Изнемогли и оголодали все. Полдня по уши в приключениях. Но картинно падать на финише было некогда. Потому что мы не опоздали! Дима и Валя открыли избушку, чтобы взять топор, и сгнули во тьме. Мы ринулись в дом, но мгновенно закупирили собой сени. Сказка не кончалась. Перед нами явилась полная бочка мочёных яблок. То есть это она сначала была полная. А когда Дима и Валя вынырнули изо тьмы с ёлкой, то яблок уполовинилось. Потом мы эту ёлку ставили, обряжали, скатерть-самобранку накрывали, магнитофон шипящий ладили. Но всё это смутно. Помню только, что от бочки, в которую — по опустошении — приходилось заныривать, меня оттаскивали: “Куранты же!”

То ли ел я их, то ли пил. Холоднющие яблоки исчезали и таяли во мне, не задевая и не заполняя нутра. Укормить меня ими было так же безнадёжно, как Мюнхаузену напоить полукозня. Когда бочка показала дно, пришлось перейти на шампанское. Потом мне говорили, будто я танцевал с ёлкой. Держал её на весу, как кота за хвост. А всё яблоки. Не от шампанского же.

На рассвете пробежался на лыжах в соседнее село Старое, оттуда в то самое Хорошилово и дальше, к началу просеки на Ртищево. Вернулся во-время. Уже говорили за автобус на Москву. Отговорил. Хотя доверяться мне после вчерашнего ночного рейда по лесам было рискованно, если не опрометчиво. Ко Ртищеву пришли засветло, без приключений и совсем с другой стороны. Своих ночных следов нигде не видели.

\*\*\*

Года через два или три попытался в одиночку въехать в Новый год лесом. Стартовал из Ново-Никольского. Увы! Головной фонарь светил куда угодно, только не на лыжню. Потому что голова-то шевелится! Я едва не посшибал все сосны на первом же спуске и благоразумно успел восвояси.

\*\*\*

Вали и Димы давно нет в живых. Нет и Жени, но есть Лара. Их дочери уже за 35. Пару лет назад отыскался — сначала в гончих протоколах, а затем и живьём — Серёжа, первый номер из той сходненской команды. Надеюсь, что где-то здравствуют и другие. Ещё жив и я. Почему-то.

# *Про Альку*



## Лопух

Семилетний Алька обретается на даче. Считается, что гостит у дядьки. Но тот — человек занятой и заезжает редко. Так что Альку пасёт дядькина тёща. На ней же держится всё дачное хозяйство. «Алька!», — кричит она с кухни, — «Принеси с огорода лопух побольше. Мне кастрюлю песком без лопуха не отчистить».

Алька, не знает, что такое лопух. Хотя само слово много раз слышал. Альке стыдно сознаться в своём неведении. Но если бы он хоть раз видел то, за чем его посылают! Он долго бродит вдоль ограды, громко шуршит всякой травой, в общем, тянет время. Может, она забудет или обойдётся без лопуха. Но с кухни ему напоминают: «Алька, где ты там, я жду!»

Алька разглядывает буйные сорняки вокруг. Вот эти, с сизыми шариками, которые цепляются за штаны, кто-то при нём однажды назвал репейником. Вот это — просто трава, безо всякого названия. Алька уныло бредёт на кухню.

— А где же лопух?

— Там его нет.

— Да как же нет, когда вся изгородь им обросла?

— Не знаю. Нет и всё.

Хозяйка бросает кашеварить и через минуту приволакивает от забора огромные листья... репейника! Потом она берётся драить какую-то посудину. Молча. Будто поняла, в чём дело. Или просто не захотела расходиться на слова. Но Алька ещё долго не подходил к кухне. Ждал, когда просохнут слёзы: «Ну, почему она сразу не сказала? — Сама не знает, чего хочет!»

## Малинка

Алька перешёл во второй класс. На каникулы мать отправила его к своему брату, алькиному дядьке, в Уфу. Однажды дядькин шофёр привёз здоровенный ящик. Боком втащил его в квартиру и оставил на кухне. Когда ящик вскрыли, Альке сказали: «Поешь малинки, пока свежая. А то на варенье пойдёт». Алька никогда не пробовал малины, но видел её на картинках. Правда, нарисованная, она казалась гораздо крупней. Без особой радости, скорее, из любопытства, Алька выбрал сверху самую большую ягоду. Потом ещё одну. Затем перестал выбирать и стал таскать в рот одну за другой.

Когда он начал загребать малину горстями, ему предложили огромную деревянную ложку. Тогда Алька пристроился возле ящика на табуретку. Ложка была явно шире рта. Чтобы ягоды не сыпались с неё, Алька подправлял их свободной рукой.

Пресытившись, Алька с сожалением отваливал от ящика и даже уходил погулять. Но ящик притягивал его снова. До сих пор Альке разрешалось грызть вволю только свежую капусту или морковку. А тут малина. От пуза. Оно, казалось, уже не могло вместить ни единой ягодки. Но ведь вмещало же! А главное: сколько бы Алька ни заглатывал, в ящике не убавлялось! Ну, или почти. Во всяком случае, будущему варенью видимого ущерба не было.

Алька разровнял ягоды поверху и решил: «Доем вот до этого сучка». Когда доел, чуть ниже обнаружился ещё один такой же сучок. Алька на всякий случай оглядел ящик снаружи: сучков в дощечках было понатыкано, что звёзд на небе.



Чем кончилось это состязание брюха и духа, Алька теперь не помнит. Ещё много лет он не мог смотреть на малину даже на картинках. Простуженный, отпихивал ложку с малиновым вареньем. С годами отвращение постепенно притупилось, а потом и вовсе прошло. Да и ящик тот подзабылся.

Но вот однажды Алька, которого давно уже зовут по имени-отчеству, возвращается домой и чуть не поскользывается в прихожей на творожной обёртке. Сам творог рассыпан-размазан по полу в комнате и на кухне. Из-под кровати выползает кот Борис. Лапы его прогнулись, брюхо волочитя по полу. Морда вымазана белым. Кот не в силах ни облизнуться, ни мяукнуть. Взор его, обращённый внутрь, тосклив и мутен.

Алька пришиб бы его на месте, да нельзя. Во-первых, кот чужой: подруга упросила поддержать на время её отпуска. Во-вторых, жалко такого сообразительного. Две пачки твердокаменного творога Алька перед уходом положил размораживаться. Не на виду у кота, разумеется, а в глубокую кастрюлю с крышкой. Кастрюля стояла высоко, на холодильнике. На крышке, для верности, — старый чугунный утюг. Дверь на кухню была закрыта и припёрта табуреткой. Табуретка пригружена стопкой толстенных словарей.

Домашний тигроид учуял поживу. Протиснулся между ножкой табуретки и кухонной дверью. Табуретка сдвинулась, дверь отошла. Борис оказался на кухне, сиганул на холодильник и свалил с него кастрюлю вместе с утюгом. Завладев творожным избытком, кот уже не смог совладать с аппетитом. Растребушил и заглонул первую пачку. Затем взялся за вторую. Есть, а вернее, жрать уже не мог: только размазал по полу.

Почти постаревший Алька смотрел на обездвиженного кота и вспоминал ящик с малиной.

## Сберегательный штепсель

Алька часто бывал у матери на работе. В сберкассе. Сбербанк тогда не было, и вообще, банк был всего один. Назывался “Госбанк”. Это было удивительное место. Там можно было получить за мятвй, недоразорванный или кое-как склеенный рубль — совершенно новый, только что отпечатанный и хрустящий. Алька не раз бегал на Преображенку. По другую сторону широченной и кособокой булыжной мостовой стояла какая-то церковь. Она Альке была совершенно не интересна. Потому что “Сказку о попе и работнике его Балде” он не только слышал по радио, но и читал сам. Алька, не глядя на церковь, смело заходил в дом с чёрной вывеской “Госбанк” и направлялся в кассу. Получать новый рубль. Кроме этого, ничего хорошего от “Госбанка” Алька не ждал. Потому что мать всегда говорила: “Это не наша система”.

Слова были Альке знакомы ещё по пребыванию у дядьки-полковника в Уфе. Там тоже были две системы: “наша” называлась МВД, а другая — МГБ. Чтобы жители Уфы не путались в трёх буквах и не принимали “наших” за других, номера машин красили по-разному. В Москве мамина “наша система” называлась длинно. Даже если сокращённо: МГУ ГТСК и ГК. Но Алька мог запоминать всякие неудобные слова, которые попадались на вывесках. Например, “красильно-аппретурная фабрика” или “Росхлоппромбумсбыт”. Поэтому десять корявых букв он произносил без запинки и тут же расшифровывал:

“Московское городское управление гострудсберкас и госкредита”. Кто такой “госкредит”, Алька не знал, потому что даже мать не могла объяснить. Альку это нисколько не смущало, потому что неведомый ГК был “наш”.

С “ненашей системой” Алька тоже был хорошо знаком. Не только по обмену драных рублей на новые, но и по “приходным кассам”. Алька сам догадался, почему они так называются. Туда все должны были приходиться каждый месяц. Платить за квартиру, свет, газ и прочие “удобства”. Для этого сначала надо было получить в домоуправлении “жировку”. Альке она казалась строгим выговором: “Не жируй, а плати!” Тем более, что мелкие буковки на ней стращали: “За просрочку платежа начисляется пеня”. Наверное, тот, кто печатал эти бумажки, был уверен: будут жировать. Сначала Алька думал: “Вот здорово! Лучше просрочить. Тогда тебе ещё и начислят чего-то”. Но мать его сразу разуверила. Оказалось, если начисляется пеня, — это не тебе, а с тебя. Вот когда зарплата, то другое дело.

“Приходная” была на всю округу одна. На улице со смешным названием “9-я Рота”. Зато сберкас в районе было много. Мать работала то в одной, то в другой. Алька различал их по номерам. Например, 272-я была в Измайлове, а 53-я — в начале Щербаковской, у Семёновской площади.

Алька давно всё понял про мамину работу. В каждой сберкассе было два окошка. За одним — контролёр, за другим — кассир. Сначала надо было заполнить “приходный” или “расходный ордер”. Они отпечатаны на разных сторонах одной бумажки. Кто принёс деньги, заполнял чёрную сторону, а кто хотел взять, — красную. Потом ордер и сберкнижку отдавали контролёру. Для проверки. Чтоб ошибок не было. Тому, у кого они были, приходилось ордер переписывать. Совсем, как в школе. Поэтому контролёра все боялись и слушались.

Но Алька-то знал: главный человек здесь — его мать. Люди сюда приходят не к контролёру, а именно к ней. За деньгами или с деньгами. Потому что у неё за спиной — железный шкаф по имени “сейф”. Запирается на несколько ключей. Открывается не весь сразу, а дверка за дверкой, вплоть до самой маленькой. За ней хранились “трёхпроцентные облигации”. Так назывались бумаги, которые почему-то продавались за деньги. Алька долго не мог взять в толк, зачем люди их покупают: ведь сами деньги куда красивее. Оказалось, что облигациями можно играть. И выиграть. Аж сто тысяч. Об этом было написано на стене алькиного дома трёхэтажными буквами. А ещё в метро, на переходах. Тот, кто ничего не выиграл, мог облигации продать обратно в сберкассу. Для матери это было плохо. Потому что на ней “висел план”. Где именно он висел, Альке разглядеть ни разу не удалось. Но из-за этого невидимого плана мать обязана была облигации продавать, а не покупать. Иначе её лишат премии. Алька недоумевал: если люди сами не хотят покупать облигации, то почему за это надо наказывать его мать?

Когда Алька был поменьше, он удивлялся: “Ма, а почему у нас всё время нет денег? Ведь на работе их у тебя сколько хочешь, целый сейф”. В ответ Алька узнал, что деньги бывают свои и чужие. По виду одинаковые, но брать можно только свои. А чужие — просто работа: выдавать, принимать, считать и, не дай бог, “просчитаться”. Алька не понял этого слова. Оно чем-то напоминало “считалочку”. Ну, просчитался, начни сначала. Всего делов. Страшное это слово дошло до Альки, когда мать не убереглась: выдала деньги вместо того, чтобы принять. А клиент, не будь дурак, смолчал и ушёл.

Такое случалось. Даже с самим Алькой. У него ведь тоже была сберкнижка. Он клал на неё рубли, которые родня дарила по праздникам на мороженое и на кино. Так вот однажды и ему

кассирша дала три рубля, вместо того, чтобы взять их у Альки. Тот помчался домой. Порадовать мать. Она почему-то стала ругаться и велела отнести “уворованное” обратно. Алька обиделся. Он же не крал. Просто взял, что дают. Нести деньги назад совсем не хотелось. От стыда. Мать пригрозила, что пойдёт сама. Он сдался и поплёлся на Щербаковку.

Праздники бывали редко. Без мороженого и кино Алька тоже никак не мог обойтись. Копить стало скучно. На книжке не прибавлялось, и Алька про неё скоро забыл. До самой взрослой жизни.

Мать “просчиталась” крупно. Больше, чем на свою месячную зарплату. Её пришлось отдать, чтобы сошёл “баланс”. Капризный “баланс” был даже главнее, чем “план”. “План” хоть и висел на матери, но его надо было выполнять раз в месяц, а “баланс” сводить — каждый день. До того, как приедут на машине “инкассаторы”, чтобы забрать мешки с деньгами. Если “баланс” не сходился хоть на копейку, мешки не принимали. В тот день приняли.

То ли нашли потом того клиента, то ли нет, но как-то прожили. Мать продолжала работать, и Алька по-прежнему иногда обретался при ней в сберкассе. До поры.

Алька привычно скучал. Когда он сидел на стуле рядом с матерью, клиенты из-за высокого барьера Альку даже не видели. Зато он снизу видел их руки. Через остеклённое окошко. Оно предназначалось, конечно, не для Альки. А чтобы клиентам было видно, как кассир считает их деньги. От нечего делать Алька взялся было играть кнопкой зелёной лампы. Никак не удавалось понять, почему нажимаешь одинаково, а результат разный: то включится, то наоборот. Надо бы кое-что открутить и посмотреть. Но мать во-время ухватила его за открутительную руку.

В этот момент Алька увидел кое-что поинтереснее неоткрученной кнопки. Слева от матери под барьером был приделан вверх ногами маленький крутлый штепсель. На рычажок штепселя был надет блестящий шарик. Чтобы приятнее было штепселем щёлкать. Туда-сюда. Алька бы с превеликим удовольствием. Но ведь не дотянешься. И Алька сполз на пол. Пролез под соседним стулом. Вылез из-под него слева, и — щёлк, щёлк, щёлк!

Нет, мать решительно никогда не понимала его радостей. Ни в войну, когда он за хвост принёс в подвал настоящего кота. Ни после, с той злополучной трёшкой. Вот и теперь разразился переполох. Алька испугался и зажал уши ладонями. Когда он на секунду отводил руки, то среди общего гвалта до него доносились “милиция” и “доигрался”. Алька понял, что его сейчас “заберут”.

Он заметался, выбежал из-за барьера и забился в самый дальний угол. Там и дрожал, когда действительно появился милиционер. В белой летней гимнастёрке с красными погонами. Мать что-то говорила. Наверное, жаловалась на Альку. Тот не слышал, только дышать перестал от ужаса: “Всё, сейчас начнут забирать”. Но милиционер зачем-то козырнул матери, будто она его командир, и — ушёл! Алька даже расстроился. Выходит, он зря чуть не умер от страха?

С тех пор Альку за барьер уже не пускали. Зато теперь он знал, что такое настоящая секретная “сигнализация”. Это вам не “Тимур и его команда”. Не верёвки вместо проводов или бубенцы из консервных банок. Со сберегательным штепселем не страшны никакие грабители. Щёлк, и пожалуйста: милиция уже тут.

\*\*\*

Прошло лет десять. В начале лета на 53-ю сберкассу, ту, что у Семёновской, напали бандиты. Один выстрелил из пистолета в потолок и велел всем лечь на пол. А кассиру — отдать все деньги. Потом грабители ушли. С деньгами. А как же секретная сигнализация? — Никак. Алькина мать — это она работала в тот день — успела-таки щёлкнуть сберегательным штепселем. И милиция примчалась. Через час. На пульте в отделении сигнал попал не туда. Наряд поехал в другую сберкассу.

Милиции очень не хотелось признавать свою оплошность. И всю вину свалили на кассира. Дескать, не сговорились ли она с бандитами заранее. Вот и шуба у неё откуда-то взялась. За две тыщи. При её-то зарплате, 500 в месяц. Как будто милиционеры не знали, что шубу купил ей старший сын. Ещё зимой, чуть ли не за полгода до происшествия.

Сберкассовое начальство тоже перепугалось. Вдруг попадёт и ему за пропавшие деньги. С перепугу кассира уволили. Мало того, потребовали с неё эти деньги. Её зарплату за много лет. В отчаянии она искала помощи даже у церкви. Там не отказали, но помочь могли разве что символически, в лучшем случае десятиной от запроса. Потом кассира на работе восстановили. По суду. Когда она уже слепнуть начала от расстройства. Со временем и грабителей нашли. Без денег, конечно.

Об этом ограблении какая-то московская газета рассказала. Жаль, что газетная вырезка где-то затерялась.

А кассирам с тех пор стали выдавать оружие и учили их стрелять. Алькина мать боялась прикоснуться к пистолету: вдруг выстрелит или, хуже того, отнимут. Так он и лежал у неё в сейфе, ещё дальше, чем облигации.

## Пионерлагерь имени Сберкасс

Хорошее место лагерем не назовут. Но другого места для Альки на лето его мать придумать не могла. Её сберкассовый профсоюз по бедности арендовал под свой лагерь двухэтажную деревянную школу в селе Троицком, не доезжая Клина. Электрички ходили только до Крюкова. До Фроловского добирались пригородным поездом, с настоящим паровозом. Возле станции грузили чемоданы на колымагу-полторку. Сами шли больше восьми километров пешком по пыльному просёлку. Где-то в середине пути ходоків встречала уже порожняя колымага и подбирала самых маленьких.

Лет через тридцать Алька, которого уже всюю зовут по отчеству, специально съездит до Фроловского. Отмерит те самые километры. Уже по асфальту. Хотя село к тому времени не изменится. Та же старая школа с садом, тот же склад в бывшем храме, тот же пруд с зелёной водой.

Это здесь давным-давно плавали утки, побитые невиданным градом. Он начался с обычного грозового дождя. Все сидели в столовой, когда по крыше дробно застучало. В окна было видно, как градины становятся всё крупнее. Некоторые пробивали рубероид и падали на столы. Растянув над собой снятую майку, Алька рванул к дверям школы. Когда добежал, по её жестяной крыше уже названивали ледяные мячики.

Потом всё внезапно кончилось. Дети стали собирать градины в тазы, чтобы сфотографироваться на фоне пруда с побитыми



тыми утками. Не каждый день с неба падают увесистые шары свекольного размера.

У этого же пруда стояла деревянная баня. Воду в котёл таскали сами. Сами и дрова заготовливали. Вообще, лагерь хоть и не был палаточным, но держался на самообслуживании, вроде солдатского. Особенно по кухонной части. Воды из бочки при-тащить, картошки котёл начистить и прочие развлечения выпадали за смену каждому по несколько раз.

Лагерь невелик. Три отряда, девяносто мальчишек и девчонок, да семеро взрослых. Ещё был директор арендованной школы. Он весь свой летний отпуск приглядывал за школьным садом-огородом: чтобы не лазили через забор, ничего не ломали, не топтали и не грабили урожай. Алькин средний брат уже успел отличиться именно по этому делу. Он-то здесь больше не появлялся. Зато Альку, — едва услышав фамилию, — вроде как узнавали: “Знаем, знаем. Это тот, который залез в огород”. Хотя Альку огородная ботаника не прельщала ни в детстве, ни в дачном возрасте. На всю жизнь хватило послевоенной ботвы на семейной картофельной делянке.

Да и кроме запретного сада-огорода, было в лагере чем заняться. Даже для Альки, которого, по неумелости, не брали играть в волейбол, а тем более, в футбол. Была речка с остатками мельничной запруды. Были ягодно-ореховые леса. Того и другого — вволю. Надзиранье нестрогое. Возможно, иного просто не нужно было. Неслухи, разумеется, не упустили случая сбежать за орехами или лишний раз искупаться. Но взрослые и так почти целые дни проводили с детьми у той же запруды, в тех же лесах. Алькин первый вожатый часто брал с собой гитару. Пел: “Татьяна, помнишь дни золотые...” или “В бананово-лимонном Сингапуре...” От вожатого Алька впервые услышал о Вертинском и Петре Лещенко. Иногда в лагерь приезжали на-

стоящие артисты. Здесь же Алька слушал самого Корнея Чуковского.

Праздниками были и те дни, когда отменяли тихий час, — по случаю похода в какой-нибудь соседний лагерь. Например, МВО (Московского военного округа). Он был не в пример богаче сберкассового. Но порядки там были казарменные. Поначалу Альку поразило обилие мальчишек, стриженных наголо и одетых в одинаковые девчоночьи платья. Оказалось, что в платьях бегали девчонки, а наголо тут стригли всех.

В гости к соседям ходили, в основном, ради футбола. Алька терпеть не мог лагерных футболистов — хамовитых, заносчивых и склонных к мордобою. Но когда они играли на чужом поле, патриотично болел за "своих". Вместе со всеми тягал из леса тяжеленные еловые брёвна: зимой штанги ворот селяне неизменно крали на дрова.

В настоящий поход, на Истринское водохранилище, брали только старших. Наконец, приспел и Алькин возраст. Двадцать походных вёрст он прошагал без звука. Но потом, ночью, никак не мог уснуть. Чтобы развлечься, взял топор и стал следить за костром. Так наследил, что к утру вокруг вместо серьёзных ёлок торчали смешные пеньки. Взрослые в ужасе скомандовали общий сбор и отвал. Легко вообразить, что было бы, случись во-время лесник.

Последнее Алькино лагерное лето было не совсем обычным. В тот год отменили раздельное обучение. Десять лет перед тем разобщённые раздельщиной школяры дичали, тупели и замыкались на однополых разборках. Но вот с сентября школы перестанут быть мужскими и женскими, а будут просто средними. Смягчить предстоящее усреднение должны были смешанные отряды в пионерлагерях. Никаких особых перемен от этого не ощущалось. Только на линейке отряд выглядел, как двухцвет-

ная магнитная стрелка. А ещё по вечерам стали устраивать танцы под баян. Меж тем пионерский возраст был на исходе. Интересы не умещались в голове и требовали выхода в дело. Из-за этого едва не случилось с Алькой ЧП.

Лагерный шофёр поехал за водой. Воду возили от речки в бочках. Скажете, таких лагерей-то нет, чтоб без водопровода. Верно. Но то ж теперь. А тогда надо было воду взять из родника у речки. Ведром налить в бочки, которые в кузове. То есть это долгое дело. Шофёр утомился дожидаться, пошёл и накушался водки.

Физрук, который был с детьми, пришёл пешком обратно. Он знал, что Алька вроде бы умеет ездить, права какие-то у него есть. Нашёл он Альку и говорит: “Машина стоит под горой, надо её довести как-нибудь”. Ну, Алька и пошёл. Назвался груздем.

Пришёл на речку. Там машина ждёт, уже с полными бочками. Ключ в замке. Всё нормально. Завёл. Впереди крутая гора. Мальчишки залезли в кузов и устроились с бочками в обнимку. Алька тронулся, как учили в автокружке, со второй передачи. В кузове восторженно заорали. Машина поползла до середины горы, а дальше надо было переходить на первую передачу. И вот тут Алька перенервничал, нечаянно врубил вместо первой — задний ход и дал газу.

Грузовик резко дёрнулся назад, сошёл с дороги на косогор и должен был неминуемо перевернуться. Прокувыкаться до самой речки. С бочками и детьми. Левые колёса оторвались от земли. Машина накренилась...

И тут под правые колёса плеснуло водой из бочек. Машина не перевернулась, а соскользнула с косогора по мокрой траве обратно к роднику. Алька, дрожа, заглушил мотор. Тихо-тихо все ушли, а машину бросили.

Часа через три или четыре шофёр проспался и прогулялся узнать, как там его машина. Потом пришёл и кричал: "Где этот Алька? Я его сейчас повешу!" Алька во-время спрятался. Хотя гораздо страшнее протрезвевшего шофёра для него было неотвязное: "Если бы не мокрая трава..." Вот так вдруг кончилось лагерное детство. Грянула пора отвечать. За себя и за тех, кто за спиной.

\*\*\*

Пройдут годы, и Алька сам станет вожатым. На несколько лет и ещё на одну зиму. Совсем в другом лагере. Не сразу, но научится управляться с полусотней горластых задир. Да так, что к нему будут приводить всяких неподдающихся. Хотя он никакой не воспитатель. Просто к тому времени он ещё не успеет забыть, каким был сам в пионерлагере имени Сберкасс.



*Недосягаемо  
близкие*



## Шашлык по-крылатски

*Козлевича охмурили ксёндзы.*

И. Ильф, Е. Петров. “Золотой телёнок”

Беглец всю жизнь был не в ладах с миром и с самим собой. Себе не прощал ничего, а миру — только обездоленную женскую красоту.

Беглянка, по-мальчишьи стриженная, темноволосая, неотразимо курносая и неуёмно победительная даже на пороге своих пятидесяти, безнадёжно нравилась ему. Когда-то очень давно он не раз видел её на соревнованиях. Но и с тех пор, как они оказались в одной команде, ничего не изменилось. Взмах руки, “Привет!” — и дальше. Каждый в свою сторону.

Он выдумал для себя её судьбу. Неустроенную, не особо радостную. Нет, в команде её, конечно же, любили все. Но он усвоил ещё с научных времён: все — это никто.

Беглец жалел Беглянку и не решался заговорить. Восьмой год. Однажды по дороге к старту они оказались вдвоём в пустом автобусе. Он старательно пялился в окно. Но видел: она вообще не замечала его. В упор.

Они до сих пор могли бы делать вид, что их тут нету. Когда б не истребительный завод. Завод истреблял дефицитный металл на жизненно важные для населения истребители. Недоистреблённые отходы попадали в цех ширпотреба. Здесь из них получались сверхлёгкие титановые утюги и самые тяжёлые в ми-

ре лыжекаты. Не наоборот. Потому что колёса у лыжекатов были от истребителей. Беглец тоже купил парочку. Не истребителей и не утюгов.

Шины у лыжекатов оказались, — совсем как у истребителя, — почти одноразовыми. В поисках новых Беглец набрёл на завод. Там лишних шин не было: все уходили на сборку. Зато предложили лыжекаты целиком. В обмен на 2000 км испытательного пробега. С техотчётом к зиме. Сторговались на одной тысяче. И чтоб по пересечёнке тоже. Как в детском стишке.

*И с прыскоком, и на месте,*

*И двумя ногами вместе.*

Стал Беглец обрабатывать свой истребительный долг. Гонял по набережным, вкатывал на Воробьёвы горы, вальяжничал на парковых дорожках в Покровском-Стрешневе и однажды забрался на самый верхний из Крылатских холмов. Нормальные лыжекатчики обходили тот холм стороной и съезжали где поположе. Но от них не требовалась проверка на истребимость.

Короче, покатился он. И конечно, загремел оттуда. Иначе быть не могло: скорость есть, а тормозов... Когда Беглеца вознесло по виражу, он сгруппировался, изящно залёг на бок и искромётно затормозил. Всем организмом. По *асфальтобетону повышенной шероховатости*. Из противоударных средств на нём была только июльская спортивная форма. Трусы, стало быть. В полёте они обуглились. На углях мгновенно поджарилась начинка.

В медпункте его мыли перекисью из ведра. В другое ведро сестра макала килограммовый ватный рулон и красила Беглеца зелёной.

Он чувствовал себя Жанной д'Арк и Джордано Бруно сразу. После экзекуции выпросил у сестры пару канцелярских скрепок и стачал ими истлевшую набедренную тряпицу. Зелё-



ным монстром в красной опояске он шарахнулся от зеркала. Оставалось проشمыгнуть через холл, где в это время очень некстати роились участницы каких-то сугубо женских забегов.

Первой, на кого он наткнулся, оказалась... Беглянка. С перепугу забыл, что они никогда не разговаривали, и ляпнул: “Жди меня здесь!” Рванул в раздевалку, не расслышав, ответила ли. Она дождалась. Провожались через весь город.

Легенда его рухнула. Дома Беглянку ждали муж и сын, а на стене висело ружьё. Тут вам не у классика: не стрельнет. Беглянка была очень осмотрительна и навещала Беглеца только после соревнований. Каждый выходной. Они радовались друг другу год или два. Однажды она позвонила не в дверь, а по телефону: “Сегодня не могу. У меня медитация. Нет, я в словах не путаюсь. Гуру подтвердит”. С гуру общаться не тянуло. Беглец положил трубку.

Они ещё увидятся однажды на каком-то старте. Она всё так же победительна. Рядом с ней — нормальный мужик. Ни на какого гуру не похожий.

Лет через пятнадцать Беглец запишется совсем в другую команду. Здесь сочинять легенду не придётся. Юная Васёна, стриженная по-мальчишьи, темноволосая, неотразимо курносая и неуёмно победительная, всегда у всех на виду. Как и её судьба. Васёну любят все. Поэтому она считает, что никто. Беглец жалеет её. И опять не в ладах с миром.

## Верунчик

Она появилась в отделе в разгар бабьего лета. Едва ли не в первый день принесла на работу свадебные фотографии. На множестве заказных картинок её послушно обнимал рыжий однокурсник.

В конце недели научная массовка привычно выезжала в совхоз. Верунчику не досталось места в автобусе. Откуда-то с заднего сиденья донеслось: "Верунчик, лезь сюда, на себе доведу!" Она, не задумываясь, шагнула по проходу через чужие ноги и рюкзаки в дальний угол. Угнездилась на чьих-то коленках. Их владелец ошарашенно подивился. Не столько сам себе, сколько её готовности: ведь только вчера от свадебного стола и на' тебе — будто к папе на ручки. А может, так и есть: как-никак, он лет на двадцать старше. Больше двух часов, пока они дотряслись до места, она уютно колыхалась и порой даже задрёмывала на нём.

Как всегда, городские труженики села слегка наработались и хорошенько отметились. Когда грузились в обратный путь, Верунчик первой заскочила в автобус, — чтобы занять то же самое место. Одно на двоих. Он обнял её, и она мгновенно убаюкалась. В Москве они вылезли у метро. На нём были кондовая спецовка грузчика, резиновые сапожищи и прогоревший рюкзак. В таком виде он проводил её от "Парка Культуры" до цеховского дома на Зубовском. Целовались у подъезда. Её волновали две вещи: чтобы охранник изнутри их не видел и что-

бы не мешали очки. Их она поминутно сдвигала вверх. Рыжего не вспомнила.

Тогда модны были длинные кисейные платья. В понедельник на Верунчике тоже оказался почти прозрачный белый колокол. Его насквозь пронизывало солнце. Оно даже не высвечивало, а приманчиво обнажало. Верунчик крутанулась возле своего стола. Солнечный сноп озарил кисею. В этот момент стукнула дверь. Он тоже всегда рано приходил на работу. Чуть притуманенная, солнечная нагота ожгла его. Их глаза ошалело встретились.

Пока он запирал отдел, она высвободила из-под ног белую бабочку, и та радостно упорхнула с её руки в ящик стола. Кисея вознеслась и осенила плечи...

Весной Верунчик оказалась в больнице. В инфекционной. Туда никого не пускали. Но торцевое окно второго этажа не ахти как возвышалось над какой-то пристройкой. Он взбирался по наклонной крыше пристройки. Отдавал цветы, и они часами говорили, говорили... Странно, раньше он не задумывался, почему гепатит называют желтухой. Только через месяц или полтора лицо у Верунчика вновь обрело естественный цвет.

Когда она вернулась на работу, он — профорг отдела — ходил валяться в ногах у предместкома. Чтобы ей дали санаторную путёвку. Ему возражали: тут из ветеранов очередь до самой их смерти, а ты нам суёшь кого-то без году неделя. Но он не отступался. Убеждал, настаивал и взял на измор. Она уехала.

В конце лета был какой-то субботник. Переучёт опавших листьев в подведомственном доме отдыха. После субботника он позвал её к себе. Она только вздохнула. Глаза не встретились.

А потом она пропала. Будто вовсе не бывала.

## Троллейбусный гамбит

*Гамбит — вид дебюта, когда одна из сторон жертвует какой-либо фигурой, чтобы обрести выгодное положение.*

Полночь. Проспект. Троллейбус. Двое. Он провожает старую знакомую из ресторана. Сама напросилась по случаю какой-то даты. В кабаке было тоскливо. Он уже давно воздерживается от питья. Оркестра не было. Есть не хотелось. Пришлось натужно развлекать даму. Подливаниями и воспоминаниями.

Знакомы они едва ли не четверть века, но как-то не подряд. На заре их лыжной юности она отвергла его. Потому что была моложе. Аж на семь лет и пару разводов. Потом оба строили и рушили личную жизнь. Надолго потеряли друг друга из виду. Когда личный долгострой обоих утомил и угомонил, случай подстроил им встречу. Былая лыжница загорала на набережной и узрела его в марафонском потоке. Схватила чей-то велосипед и покатила рядом. Так они заново подружились. Он бывал у неё дома. Общался с её родителями и детьми. Однажды даже пытался чинить что-то из мебели. Она приходила на его марафоны. Бегала за ним с термосом. За это позволяла иногда водить себя куда-нибудь.

Этот поход случился после изрядной паузы в их новой дружбе. Его давно уже занимало иное знакомство — сперва недостижимое, а теперь мучительно близкое и беспросветное. За окном занималось смутное время. Кончалось привычное советское бытообразие. Он уходил в никуда. В последние дни работы завершал бег по обходному кругу. На бегу заметил за

пишущей машинкой Наташу: она перепечатывала стихи из журнала. Не останавливаясь, буркнул: «Свои надо делать, а не чужие переписывать!»

Жест отчаяния. Прощальная, последняя попытка. Если первыми считать шоколадные приманки. Их он иногда незаметно оставлял на столе у Наташи. Потом тихо радовался при виде её изумлённого удовольствия. Она пришла в отдел год назад. Они служебно раскланивались. А чего ж ещё? Она только из студенчества. Ему под пятьдесят. Но его крамольно тянуло к ней. Хотя её тянуло покурить. Его это должно было отвращать. Но не отвращало. Только повергало в раздумчивость.

Из раздумчивости его вдруг выбило явление Наташи. Она брякнула ему на стол тетрадку: “Здесь свои”. Он открыл наугад. Беглый взгляд прогнулся под увесистой строфой. «Знаешь, ты сама гораздо интереснее», — чуть не сказал он. Она попросила просмотреть и оценить. Немедля. С ноги. Он подумал: «За что боролся». Учтиво перелистал. Давился зевотой и как бы задерживался на некоторых страницах. Наташа не уходила, пока он не промямлил что-то полупохвальное. Потом пошел сдаваться. В библиотеку.

Книжная крыса вычёркивала одно за другим все названия из его формуляра. А он поедал глазами приоткрывшийся соседний. То был формуляр Наташи. Их фамилии по алфавиту рядом. Под фамилией дразнился домашний телефон. Когда в обходном появилась требуемая закорючка, в памяти уже угнездилась семизначная цифирь. Это теперь всё стало проще. Ткни клавишу — и узнай. Где, кто, с кем. За кого вышла замуж Наташа. Сколько лет её сыну. И какой у неё телефон.

А тогда он уволился. Ружье повисло на стене. Заряженное той самой семизначной цифирью. Ближе к зиме он решил — таки снять его со стены. Зажмурился и... набрал номер. Попал.

Позвал. Пришла. С той самой тетрадкой в зубах. Жевали стихи. Зевали в каком-то полународном театришке. Коченели на лыжах. Фотографировались. Целовались. На “Вы!” Как муха об стекло, он бился об её невыносимое “Вы”. С горя изводил её рифмами. Она открещивалась своими. Потом на него упал юбилей. Едва дожил до вечера и помчался к ней. Без звонка. Просто помаячил под окном. Заметила. Вышла. Ругала. Слушала. Мёрзла. Зазвала. То-то праздник был! Бы. Когда б не “Вы”...

...Нарестораненная подруга утряслась на его плече. Он тревожно глянул на часы: спровадить и — бегом в метро. На другом конце Москвы от метро ещё топать километра четыре. Но это уж потом. А пока троллейбус резво скачет по проспекту и нехотя взбрыкивает у пустынных остановок. Да и кому в полночь взбредёт куда-то пилить в мороженом троллейбусе?

Таки взбрело! Двери в очередной раз пшикнули. Он вздрогнул, сжался и обречённо обмяк: от дверей прямо на него шла... Наташа! Но очки её запотели, и она его не увидела. Ни сразу, ни потом. Устроилась впереди. Вместе со своим юноробородым спутником. С ним они не переставали говорить о чём-то занесённом с улицы.

Тут некстати трепыхнулась с плеча подруга: «Не проедем?» — Он боялся выдать себя голосом и промолчал. Она не унималась: «Какая была остановка?» — Он полузадушенно вякнул. Тут ей вздумалось озаботиться: «Ты меня до дома не провожай. Иди сразу к метро, а то не успеешь». Он был в отчаянии: «Эк её прорвало. Теперь не заткнёшь». От злости он даже не заметил, как Наташа и её приятель покинули троллейбус.

Подруга снова затихла. Безмятежно. Потому что и вообразить не могла: через несколько лет её дочь сойдётся с ним. Они будут жить задиристо и кучеряво. Аж до нынешней тысячелетки.

## Игра в ящик

*Можно я приду к тебе завтра?*

Он бежал в универсам, а потом ждал.

Она устраивалась в кресле.

*Помоги мне вот здесь.* Он помогал.

*А теперь просканируй мне это место.* Он сканировал.

*А ты не мог бы?* Он мог.

*Ты накормишь меня?* Он кормил.

*Ну, расскажи мне что-нибудь, только не очень страшное.* Он рассказывал.

*Ты проводишь меня?* Он провожал.

Потом неделю думал: *Чего она приходила?*

И ждал снова.

Пока не ослеп.

\*\*\*

*Ты придёшь завтра?*

Она приходила. По дороге забежала в универсам.

Он устраивался в кресле.

*Помоги мне вот здесь.* Она помогала.

*А теперь просканируй мне то место.* Она сканировала.

*А ты не могла бы?* Она могла.

*Ты накормишь меня?* Она кормила.

*Ну, расскажи мне что-нибудь, только не очень страшное.* Она рассказывала. Они гуляли в лесу.

*Ты проводишь меня?* Она провожала.

Потом неделю думала: *Чего я приходила?*

И приходила опять.

## (Без)родные космополиты

Он знал Её с тех пор, как Она появилась во Вселенной.  
Их орбиты иногда сближались.  
Однажды, пролетая мимо, она поздоровалась.  
Он машинально ответил.  
Весь следующий виток по орбите гадал: кто же это?  
Потом он долго жил. Не с Ней.  
Называл её именем и отчеством. Не Её.  
Соорудил диссертацию. Не Её.  
Как мог, изводил себя. Не ради Неё.

\*\*\*

Грянуло очередное сближение орбит.  
Он вёл себя так, будто всё это у него было с Ней.  
Её это не удивляло.  
Расставаться не хотелось.  
Но всемирного тяготения никто не отменял.



## Летайте трамваями "Аэрофлота"!

Утром он открывал глаза с досадой и ужасом: "Опять этот чёртов потолок! Неужели в жизни уже не будет ничего другого?"

Трамвай катил по Ленинградке мимо затяжного дождя. Ехали он и она, с четырёхлетней дочкой на коленях. За водянистым окном — бесконечное бутылочное остекление дюралевых переплётов. Вверху проползали буквы. Вместе с последней до него дошло: А Э Р О В О К З А Л. Он резко подвинул спутниц и молча выскочил на остановке.

Часа через два АН-24 плюхнулся в лужу на травянистом аэродроме автономной столицы. Внезапный пассажир посмотрел в забрызганный грязью иллюминатор. Прогресс: давно ли паровоз тащил его сюда больше суток. А теперь — вот он, город, вот тот самый универмаг. А вот и встреча: "Ты зачем приехал? У тебя, видно, деньги лишние."

Пока тот же замызганный АН приколохался в Быково, пока электричка dospotyкалаcь до вокзала, пока на метро удалось дотащиться до "Сокола", уже стемнело. "Какой длинный день", — подумал он и привычно ткнул ключом перед собой. Ключ не полез. Замок успели сменить! Только теперь он заметил внизу у двери свой полупустой рюкзак.

Спустя год он получил телеграмму: "У нас пересадка Быкове приезжай поможешь". Его скривило. Однажды она вот так же известила: "Буду проездом Юрмалы встречай Рижском".

Тогда из вагона её почти вынес на руках попутный старлей. Она ещё вздумала их знакомить. Нет уж. Такая вокзальная радость была ни к чему: "Вот пусть старлей и тащит её чемодан на Казанский". И ушёл. А теперь: "У нас — это у кого с кем? — Да пошли они!"

И сам пошёл. На работу. Не усидел, конечно. Завёл служебный УАЗ, нарисовал липовую путёвку и рванул по Рязанке. Успел. Встретил. Пока она оформляла транзит, он занимал её полугодовую Светку. Та летела к папе. До отлёта ещё было время. Он повёз их в ближайшую сосновую рощу, которую приглядел по дороге. Устроили завтрак на траве. Фотографировались. До сих пор он жалеет, что ни плёнку, ни карточки не сохранил. Через два года она умерла. Где-то там, куда улетела тогда.



## Породнённые и породнители

*Жениться надо на сироте.*

Н.В. Гоголь. "Женитьба"

Он был *настоящий* полковник. Полевой хирург. Спустя 25 лет после войны и через много лет после его смерти ещё целы — в жестяной коробке из-под монпансье — его ордена: Ленина, Красного Знамени, Красной Звезды, Отечественной войны... И горсть медалей, конечно. Примерно тогда же на чердаке его дачи случайно отыщется трофейный немецкий штык. В послевоенной, двухкомнатной полковничьей квартире, в доме, построенном пленными немцами, ещё долго будет храниться двухкирпичный врачебный справочник.

Кроме военных подвигов, за хирургом значился и гражданский. В разгар войны он овдовел и скоро снова женился. На вдове. Его двоим сыновьям нужна была мать, а её двоим дочерям — отец. Или хотя бы его продаттестат. Каково жилось в войну с четырьмя детьми, вообразить нетрудно. К тому же, в январе 45-го в семье родилась дочь. Малышка Танька сразу стала отцовою любимицей. Вряд ли старшим это было в радость. Впрочем, как уживались все семеро, теперь неизвестно. Но война миновала, и всё бы ничего, когда б не душевное расстройство у матери. Кончилось плохо: она повесилась. После этого и отец жил недолго. Его приёмные дочери оказались под наблюдением психиатров.

Дальнейшие события начинаются примерно тогда, когда пятеро детей только-только управились с многолетней тяжбой

о дележе наследства. Младшей по суду выпало чуть более остальных. Особой дружбы промеж наследниками даже при жизни родителей не было, а теперь «богачку» и вовсе не привечают. Старшие свою долю в деньги обратили и поделили. Речь, однако, не о них. Младшая стала хозяйкой полудачи и приличного участка. Прямо́хонько под самолётами. До посадочных огней всего пара километров. Зато на участке росли сосны и грибы.

Татьяне двадцать четыре. Позади — детство, сначала с отцом, потом под опекой пожилой тётки. Затяжное студенчество с переборами на вынужденный брак. Дочке Ирке три года. Муж *пьёт, бьёт и денег не даёт*. На пропой подрабатывает по кладбищам. Из дома, правда, уже не тащит: нечего. Часто не ночует. Ирка пристроена в круглосуточный детсад. Каждую среду и субботу Татьяна её оттуда берёт домой. Идёт, как на Голгофу. Потому что девка растёт скандальная, громогласная, неуправляемая, вздорная. Матерью помывает, как хочет, и лишает её всяческой жизни, не говоря уж о личной.

Да и какая там личная жизнь. Втроем они обретаются в одной из комнат отцовской квартиры. В другой комнате — полумная сводная сестрица. Якшается с солдатами из местных стройбатов, за квартиру не платила никогда. Судом и с трудом удалось разделить коммунальные счета. Электропроводку не поделишь. В итоге свет отключили за долги. В былое время татьянин муж втыкал в провода иголки и как-то исхитрялся подсоединяться в обход счётчика. Но вот уже который месяц сестры упёрто сидят в темноте. Чтобы не платить ещё и за *эту*.

После вуза Татьяна инженерит в научной конторе, каких по Москве тьма. Мечется по кругу, как все: работа-дом-работа и детсад. Сторублёвой зарплаты (минус подоходный) на двоих — никак. Пожалуй, придётся дачу продавать. Искать покупателя. Тогда вам не сейчас, но рекламное приложение к «Вечер-

ней Москве» уже было. На работе Татьяна первым делом обшаривала глазами газетный листок и обводила нужные строчки. Газетёнка выходила только по средам, стоила всего две копейки, но купить удавалось редко: дефицит.

Но вдруг в одну прекрасную среду газетка уже лежит на столе совершенно сама и ждёт! Через неделю — опять. Дошло до того, что воздыхатель, которого Татьяна про себя называла Стеснючим, не выдержал и бросился к ней предостерегать. Мол, не дружи с Почтальоном. Но было поздно. Почтальон сидел за соседним столом и ТАК на неё смотрел! Откуда ей было знать, что у него просто оба глаза — левые!

Из-за этого его всю жизнь мучили ревностью подруги, даже те, что вдвое моложе. Теперь ему уже под семьдесят, но знакомые дамы по-прежнему убеждены: левачит, подлый! В молодости он не мог понять, откуда в его женщине эта паранойя — ревновать без перерыва на обед. Бесился, прыгал из штанов, лез на стену, рычал — и тем укреплял подозрения. Он вырос в скученной коммуналке, в постоянной готовности к отпору. Теперь эта готовность пригодилась, но жизнь превращалась в пытку. Пытка затягивалась на годы, пока он, измочаленный, не сбегал

Сейчас у него как раз межпыточный передых на пороге тридцатилетия. Меж тем забавная толстуха уже благодарно улыбается. Вот так они и купились. Она — на двухкопеечную газетку, а он — на такую же улыбку. Однажды зимой они впервые заночевали на той самой даче.

На даче были два неприятеля: муж, который мог нагреть, и мороз, который уже. Без мужа как-то обходилось. От мороза спасали рефлекторы. Пока в посёлке не отрубился свет. Удрали на последней электричке. Тогда Почтальон решил: хватит приключений, надо оседать.

Он так решил. Но ей-то вполне хватало желанных встреч и счастливых расставаний. Чтобы хоть иногда отрешиться от неизбывных огорчений. Если же сойтись, то от проблем уже куда будет прятаться. Но у него дурная привычка: если женщина жалуется на проблемы, он бросается решать. Хотя ей просто поговорить хотелось. В общем, он настоял. Не потому, что *жениться надо на сироте*. Скорее, потому, что на сироте надо жениться. И вообще, надо. По совести. Ну, что О муж-пьянь, что О дочь-изводилка, что О сестра-чума? — Прорвёмся! И рванул. Рюкзак с антресолей. С ним и явился. Во тьму.

Долги погасил — свет зажёл. С мужем разобрался. Ключи у него изъяс, под Новый год с дружеской помощью с лестницы спустил, тот и возникать перестал. Горластую не по разуму сестрицу шуганул — тоже незаметной сделалась. Но вот дочь...

Почтальон готов *отвечать за прирученных, за детей ревниво-вздорных и за кошек коридорных*. Но как приручить кошмар, который был до него и продолжается теперь, безотнositельно к его появлению? Непрерывный ор четырежды в неделю. Орёт дочь, орёт мать, оборачиваются прохожие, встречаются трамвайные доброты, в дверь колотятся взбешенные соседи. Затурканная Татьяна мечется меж всеми, убажвает трёхлетнюю тираншу, отбивается от добрототов, а тут ещё *этот* на её голову...

*Этот* — вроде не новичок в обхождении с чужими чадами. Уже не один пионерлагерный сезон позади. Бывало, с полусотней малолеток управлялся. Теперь вот всего с одной, да на дому — флаг в руки. С чего же начать-то? Может, до времени отстраняться, не вмешиваться, приглядываться? — Но жить хотелось уже сейчас и не особо умеряя собственный вздрючный пыл. Пошёл напролом. Как ледокол в торосы, с ходу врубился между матерью и дочерью. Однажды запер Татьяну в ванной.

Ирка валяется по полу и вопит в комнате, мамаша бьётся об дверь, а он сидит и терпит на кухне. Время прошло, и дамы за-тихли. Как только умаялась та, что в ванной, истерика иссякла. Тирания кончилась. Можно жить.

Редидивы были, конечно, но лечились тем же способом. Он не воспитывал, не приручал, не втирался в доверие, не пытался подружиться, не заигрывал, не подкупал. Просто водил в детсад и обратно, одевал-раздевал, мыл-кормил, укладывал спать, рассказывал какую-то отсебятину, будил ночью, уговаривал и торопил по утрам. И тайно гордился собой. Особенно, когда гнал на лыжах по дорожкам в Покроском-Стрешневе и тянул за собой санки, гружённые обеими красавицами. Или когда мастерил по дому: то шкаф самодельный воздвигнет в коридоре, то вешалку соорудит для лыж и велосипеда, то холодильник починит.

Однажды у него что-то не заладилось. Он злится, дёргается. Ирка крутится рядом, пристаёт, отвлекает, раздражает. Наконец, просто обижается: “Ты плохой, уходи от нас!” Он сдурю вспыхивает, одевается — и к двери. Тут он впервые услышал, как она кричит и рыдает не по капризу, а по-настоящему, от испуга. Вечером перед сном она, как всегда, зовёт: “Посиди со мной”. Шепчет ему на ухо: “Люблю тебя!”

Как-то пошли на каток. Он посадил её на шею, покатил по льду и... затаил дыхание от страха. Запросто можно грохнуться. Ему-то что, а ей лететь с высоты его роста. Кое-как развернулся, бережно разгрузился и только тогда вдохнул.

Он вспомнит об этом через несколько лет. Он и приятель с двумя детьми убежали от грозы. Приятель взгромоздил на шею пятилетнего сына, а дочь тряслась верхом на Почтальоне. Тот скакал впереди и запнулся о корявину на асфальте. Успел вытянуть руки вперёд-вверх и принять девочку на них. Сам прило-

жился беззащитным носом и распахнутыми рёбрами. Вымазался, но был счастлив: чужого ребёнка не убил.

Ещё запомнилась поликлиника. Медсестра отвлекла Ирку картинкой, а хирург молниеносно срезал у девочки с пальца небольшую опухоль. Ирка орала, как в лучшие времена. Почтальон впервые почувствовал её боль. В собственном пальце. Может, это и есть отцовское чувство? Или ещё нет? Ведь Ирка Почтальона до сих пор привычно зовёт *дядей*. Он страдает, но переиначивать не спешит. Пусть это произойдёт само собой. Вышло иначе. Была в гостях старая знакомая и стала девочку поучать. Мол, какой он тебе дядя, когда он папа. Почтальон готов был её пришибить, чтоб не лезла. Не пришиб. Потому что Ирка — послушалась.

Ей уже пятый год тогда пошёл. Там и шестой подоспел, и седьмой наметился. Она пока умещается на коленях у новообращённого папаша. Он ей книжки читает и даже буквы различать учит. Погожим сентябрём в первый класс повёл. Здесь бы и сказке конец, если б не Татьяна. Нет, вы не поняли. Она семейной картинке вместе с вами умиляется. Да только сбоку.

С Почтальоном у неё давно уже разладилось. Он добрый, ответственный, напористый. Её дочь ему роднее, чем у родных бывает. Отчего же своих не захотел? Когда вопрос возник, решай сама, сказал. Она и решила-порешила. Потом ещё не раз так же решала. Его больше не спрашивала. Поняла про его левые глаза. Это ими он углядел как-то с трамвая аэровокзал и летанул к своей Первой. Вернулся в тот же день. Уговорил, впустила. Но трещина уже вширь пошла.

Он тоже чувствовал: не здесь его судьба. Летал за ней в прошлое — не помогло. В настоящем — раздрай. От Ирины без крови не оторвёшься, а от её матери — хоть беги. Куда? — Она ведь и на работе рядом. Однажды по межгороду случайно



вклинилась в его пустопорожний разговор с давней знакомой. Приехала, бузила при всех. Нет, надо рвать. Хоть с мясом.

Она же сама видит, что он на пределе. Не зря Стеснючего привечать стала. Небось ему всё выкладывает. Даже домой как-то притащила, поддатого. Пришлось раскладушку выгаскивать. Утром гость на разговор напросился. Дескать, он готов принять на себя обеих, — раз уж всё само рушится. Вот тогда Почтальон и ушёл. Взял на память только немецкий штык.

\*\*\*

Татьяна и Стеснючий до сих пор вместе. Когда Ирина вышла замуж и родила Дашку, Стеснючий выхаживал внучку, потом водил её в сад, в школу, в бассейн, к врачам. Своих детей у него так и нет. Плохо ли, хорошо ли, но жили. Квартира была, и не одна. Дачу строили. Вместо давно проданной. Беда явилась и назвалась *любовью*. Ближе к сорока Ирка влюбилась, бросила мужа и ушла, по словам Татьяны, к *этому мерзавцу*. Среди новой родни нашлась подлая душа и обездолила Дашку. Мол, Стеснючий — вовсе не дед ей. Какая меж старым и малой после этого разразилась драма, — лучше не знать вовсе. Дашку от деда отлучили. В довершение истории, Ирина от любви к *этому мерзавцу* родила ему дочь. Захочет ли он после этого искать дорогу к её Дашке?

\*\*\*

Для тех, кто устал о грустном. Почтальон мимо судьбы не проскочил. В тот самый год, когда сам себя ушёл, она после института в ту же контору распределилась. Конечно, Почтальона терзали память, совесть и жалость. Вместе они, наверное, и есть душа. Она долго ещё металась. Но теперь у него уже внуки. И по-прежнему оба глаза — левые.

## Попутный ветер отторженья

*Проштудируй-ка мне анатомию глаза.*

*Откуда в нём взяться загадочному взгляду?*

И.С. Тургенев. “Отцы и дети”

*Что делают тела при нагревании? — Потеют.*

Студенческий фольклор

Помню детское потрясение. Зажмуриваешь один глаз, а другому является чудо. Переливчатое, многоцветное. Чуть тронешь — всё по-иному. Глаз пытается запомнить картинку, но рукам неймётся. Ещё поворот, ещё, — сколько же красоты по ту сторону стёклышка! И до чего же та сторона не похожа на эту. Чудо притягивало и просто не давало жить. В конце концов не выдержал: надо же узнать, что там внутри. Вдруг удастся развернуть спрятанную красоту. Пусть не пропадает зря, а озарит наш убогий быт. В общем, раздраконил я подарочек. Красота рассыпалась мелкими стекляшками. Расковыренное диво называлось *калейдоскоп*.

\*\*\*

Поезд Брест — Москва. Стоим в Минске. Сначала мне явились глаза. Впереди неё. Глаза такие, что раз увидишь, — и неодолимо потянет смотреть ещё. Заглядывать, как в тот калейдоскоп. Уставившись и гадаешь, что же в них такого неотвра-

тимо влекущего. Почему голова сама поворачивается в их сторону. Почти сразу возникло опасное и неистребимое желание узнать, что же там внутри.

Возможно, всё дело было в анатомической аномалии. Она, как выяснилось, переходила по наследству. Год спустя я увидел вторую пару таких же глаз рядом с первой. То были мать и её пятилетний сын. Сейчас ему далеко за сорок. Легко вообразить, сколько слабополых душ могли прожечь его гиперболоиды.

Минская пассажирка назвалась Валентиной. Едва представившись, я наобум брякнул: “Вы не иначе, педагог”. Моя прозорливость ошарашила не меньше, чем неуёмный анатомический интерес к её глазам. Знакомство сразу заобещало больше возможного. Она действительно оказалась воспитательницей, в детсаду. За Полярным кругом, в городе Никеле. Через несколько лет я побываю там по чужой нужде. Теперь же Валя возвращалась после отпуска из родной Гореловки. Это в пяти верстах от автозавода в Жодине. Как раз туда из года в год будет гонять меня командировочный ветер.

Беседа наша катилась, как состав с горки. Мы торопили вагонные откровения и с тревогой ждали: дорога вот-вот кончится, и — что? Уже вползаем на Белорусский, а я никак не решаюсь. Ну же! Ведь исчезнет сейчас, вместе с сокрушительными глазами. — Да, но с чего взбрело, что ей меня надо? Это уж потом она признается в письме: “...Подумала, стоя у окна: как жаль, сейчас поезд подойдёт к вокзалу, и я больше никогда тебя не увижу!” Ну, не выпало мне быть телепатом. Вот разве что авантюристом... Когда надо принять безрассудное решение, всегда вспоминаю чей-то рассказ о том, как двое прощались на вокзале. Едва поезд тронулся, провожавший подумал: “Почему мы должны расстаться? Кому и зачем это надо?” И — вскочил на подножку.

Всё! Когда она потянулась за чемоданом, молча упредил. Она было дёрнулась к стоянке такси, но я уже толкнул ногой дверь в метро. Из наших разговоров знал, что она остановится у родни в Кузьминках. Довёз и назначил свидание. Завтра мы до одурения целовались в Измайловском лесу. То было обоюдное *смятение*. Вот чем оно обернулось для неё.

*Знаешь, как я жила эти два месяца после разлуки с тобой? — Будто я не в Никеле, а в Москве, с тобой, днём и ночью... Как бы то ни было, всё равно ты — мой. И я приеду к тебе.*

Однажды она приезжала. Вернее, была проездом. Под Новый год. Дивным образом наша перенаселёнка за день до того опустела. Всю родню сдуло кого куда. На память о небывальщине остались четыре строчки:

*Стала сказкою ночь-волшебница*

*И растаяла, как во сне.*

*Мне и верится, и не верится,*

*Что тебя уже нет в Москве.*

По июльской жаре я ворвался в её Гореловку верхом на служебной таратайке. Перед тем от нетерпения нахально пересёк минскую трассу по прямой. Не заметил "кирпич", который велел сначала въехать в поток направо и развернуться. ГАИшник так и остался с открытым ротом. Может, и свистел. Я не слышал. Вовсю погнался по грейдерам. Вот её избушка, вот её глаза. Два раза. Втроём мы покатали на местный пляж. Пересёк ту же автостраду, затем железную дорогу. Вырулил к водоёму. Над ним воспаряло нечто, вроде как холодный туман. Пляжный народ дружно поджаривался на берегу. Мне, после раскалённой железной коробочки, не терпелось освежиться. Валя ещё возилась с одежками Женечки, а я уже с разбегу заборился на глубину. Бр-р-р! Вода оказалась горячей! То был

пруд-охладитель местной ТЭЦ. Зимой тут поплавать, может, и приятно. Почти как в бывшем бассейне на месте несостоявшегося Дворца Советов. Но летом...

После теплоцентрального освежения отвезли мы парнишку домой, а сами отъехали в ближний лесок. Нет, то был не наш день. В таратайке — как в печке, снаружи — комарьё ужирает. Ни поговорить, ни руки освободить. Расстались ни с чем.

Через год-другой я снова был в Жодине. Валя к тому времени вернулась в родные места. У меня был её рабочий телефон. Из Москвы предупредил о приезде. Уже на месте несколько раз набирал номер. Когда её подзывали, клал трубку. С тем и уехал. Больше мы не виделись. Наверное, перегрелись друг об друга. Как об горячую воду по июльской жаре.



## Сёстры во Москве

*В Москву! В Москву!*

А.П. Чехов. «Три сестры»

*На тебя заглядеться не диво,*

*Полюбить тебя всякий не прочь.*

Н. Некрасов. "Тройка "

*Хорошо иметь домик в деревне.* Кроме квартиры в Москве. Вот и Оля так думала. Маша тоже. Хотя она на одиннадцать лет моложе. Ирина ещё тремя годами меньше. Она так не думала. Потому что родила раньше обеих, в свои двадцать, и думать ей было недосуг. Догадливые уже поняли, что на самом деле всех троих звали вовсе не так, как у Чехова.

Собственно, у Оли и Маши домик в деревне уже был. Без квартиры в Москве. Деревня с тем домиком — где-то посреди Калужской губернии. Кроме папы-мамы, которые учительствовали в школе, у них был брат Андрей. Чехов его так бы назвал. Андрей давно женился в Кострому. Кто не слышал, это ещё дальше от Москвы и в другую сторону.

У Ирины домика не было. Были прописка и общежитие. В разных местах. Зато Московской области. Это оттого, что Ирина не совсем сестра Оле и Маше. С виду только. А так — даже совсем не сестра. Хотя детство её прошло именно в Калуге. Правда, к Оле и Маше никак не касательно. Может, именно поэтому она и москвичкой стала только по работе. А не по делу. Впрочем, лучше начать по старшинству.

*От тебя я совсем      Что пылает в тебе, —  
Тронусь,                      Не помеха судьбе,  
Даже целеустрем-      Есть такая убе-  
лённость,                      Ждённость.*

Это о ней Германист настихачил, когда Москва для Оли уже настолько сбылась, что захотелось окандидатиться. С этого вся история и началась. Сперва надо было *минимумы* сдать. Экзамены такие, без которых верхнее образование ещё ничего не значит. Само-то оно было: Оля вполне потомственно через Калужский *пед* в учителя вышла. Это ещё не замуж, зато очень удачно. Ведь именно тогда москвичи своих первоклашек сами в школах учить ни за какие сто рублей не хотели. Ну, до того не хотели, что для охочей *сельской учительницы* комнату в коммуналке не пожалели. На самом престижном и комфортном этаже. Чтобы в подъезде не искать, а сразу упереться.

С детишками управляться у Оли настолько хорошо получалось, что заочное аспирантство мёдом показалось. С *минимальной философией* сама обошлась. Ведь без настоящего *диамата* в те годы дипломов в Калуге не давали. Но вот немецкий у Оли в деревне почему-то не в ходу был. Пришлось подмогу искать. В какой-то газетёнке Германист и попался. В телефон покобенился, конечно: мол, не учитель он, а только толмач. Но уговорился быстро: возмечталось ему, что у той, которая в трубке, не только голос курносый. Возмечтаешь тут, когда до счастливого бесполого будущего даже теперь не дожил, а уж тогда...

Никто не виноват, но не ошибся он.

*Ты пришла ко мне по делу,*

*И в груди затарахтело.*

*Перед тем башка гудела:*

*Так замучили дела.*

*Ты пришла, — она прошла.*

Самое невероятное: экзамен она сдала! Чуть ли не с блеском. При том, что по ходу занятий Германист её иначе как дурой беспамятной про себя не клял. Вслух он для неё художественные салаты сочинял. Нет, не сонеты, а настоящие, из помидоров-огурцов. Под укропом. За это она ему благодарность вынесла. С занесением в фотокарточку.

Ну, откуда Германисту было знать, что у неё в деревне так принято было: за красивую еду красивые фотокарточки дарить? Он-то сдуру взял, да и понял её правильно. На том и погорел. Так воспылал, что даже в лес гулять с ней ходил. А она к его испепелённому нутру — со своей боль-горючкой. Да не просто так, а в тему. Сама тоже дотлевала. По немцу фестивальному из бывлой ГДРии. Кривоугольник начертался, как у Лобачевского: Германист звонит в Берлин, чтобы для Оли Лотара подозвали. На её голос там почему-то аллергия была. Месяца два Германист у Оли в телефонистах прослужил. Потом она на экзамене чуть ли не опятёрилась и в деревню подалась. На каникулы.

Он бы угомонился уже, но у него велосипед был. Междугородный. Куда хотел, туда Германиста и возил. Теперь вот решил увезти на деревню к девушке.

<i>Черно-серная синь,</i>	<i>Режет сзади судьба,</i>
<i>Потемнев от натуги,</i>	<i>Расколов белоснежье,</i>
<i>Разрывается светом</i>	<i>Кровоточит обшивка,</i>
<i>Лазурного шва,</i>	<i>Скрежещет игла...</i>
<i>У кого ни спроси</i>	<i>Раскаталась губа</i>
<i>Про созвездье Калуги, —</i>	<i>По дороге проезжей,</i>
<i>Не одарит ответом</i>	<i>Но отставленный Сивка</i>
<i>Шальная Москва.</i>	<i>Косит из угла.</i>

Кто Чапека читал, тот вспомнил:

*О, шея лебеда!*

*О, барабан!*

*О, грудь!*

*И эти палочки...*



Кто не читал, теперь тоже вспомнил. У Чапека герой употребил номер машины, которая в ДТП попала. В смысле, 2-3-0-11. У Германиста — и вовсе Одиссея. То есть на самом деле никуда его велосипед не увёз. Во-первых, даже адреса не было. Скажете, это ещё не причина. Верно. *Девушку без адреса* у нас в кино любой дурак куда раньше сценариста находит.

Но в каком кино приснится перед велопоходом в ванну залезть? Да так в ней поскользнуться, чтобы выпасть, *мягкими тканями* унитаза ударно располовинить и осколками эти самые ткани до кровопускания покромсать? В Боткинской штопали. Штопальщик ногой упирался, когда иглу продёргивал. Германист слышал, как стерильная дратва сквозь замороженную *мягкую ткань* скрипит. Потом штаны подтянул, животом в такси улёгся и ещё три дня на животе жил. Тогда и нарифмачил.

Заочный журавль будет ещё долго закурлькивать Олю в научные небеса. Последний раз вякнет уже в третьей тысячелетке. Однажды Оля как-то извернётся от двух своих малолеток и притащит Германисту кучу книжек. Он по старой дружбе сочинит красивый салат из натуральных цитат и угостит им по *имейлу* её научную руководительшу.

Дальше Оле уже навсегда не до того станет. У её восьмилетнего сына опухоль мозга оперируют. Вроде бы удачно. Но жить ему лучше подальше от необузданных сверстников. Мать оформляется домашней учительницей к собственным погодкам. Квартиру сдаёт, в пригородном пансионате комнату снимает, на *разницу* все трое живут.

Ой, всё вам расскажи: откуда квартира, откуда дети. Про детей, положим, вы и сами знаете. Или вот-вот узнаете. Когда года подопрут, а мужья нарасхват и остались только чужие, двухспальные. Оле повезло. Мужика почти хватает на оба дома. Женат он только в одном, не здесь, зато дети там и тут.

Может, оттого так получилось, что лучшие свои годы Оля извела на квартиростроение. Из школьниковых тетрадок вылезала только затем, чтобы зарыться в обменные газеты. Коммуналку свою поменяла на арбатскую конуру со всеми неудобствами в коридоре. Из комнатухи в соседней квартире чью-то ископаемую бабуся на природу переселила: сгодился домик в деревне. Зато обе комнаты воссоединились. Одну сдать, в другой пожить, — через год евроудобства воссияли.

Тут бы Оле и остановиться. Поздно: *вагончик тронулся*. Опыт покатился в дело. Когда приватизация грянула, Оля стала *чёрным маклером*. Это уж потом недвижимых агентов в компьютеры усадят и в *риэлторы* произведут. А пока шурши газетами, ищи-находи, повесь ухо на телефон, узнавай-записывай, своди-подпикивай. Выгорит — в барыше, не выгорит — при шише. Оля рисковала: набирала долгов, — чтобы с прибытку раздать.

Между делом переселила в тот же арбатский дом костромского брата с семейством. Стали они соседями. И... не сошлись в расчётах. Мать и сестра Маша Андрея жалели. Оля надолго одна против всех оказалась. В долговой яме и с двумя на руках.

На беду, ещё и Германисту своё у Оли отозвать приспичило: квартиру менял. Она последнее — в ломбард, но ему втрое больше надо. Выкрутился и по великой злобе к ней чуть погода пришёл. Закачалась их дружба. Но выстояла. Со временем выбралась Оля из ямы. Пройдёт время, и они с сестрой друг дружке снова понадобятся.

Маша с детства страдала от зануды Оли: всё учит, учит. Маша всё делала по-своему, лишь бы не как у сестры. Но получалось или не получалось точно так же. Наконец, старшую унесло в Москву. Тут бы младшей и возрадоваться, а она следом по-

далась. Ни в какие учителя она не пошла — это учиться надо. Оля вот выучилась, пусть теперь упирается. Пошла Маша на шампанский завод. То ли по дороге, то ли чуть погода замуж сбЕгала. Снаружи никто не заметил, а что внутри от этогостряслось, — ей одной ведомо. Только стала она служить шампанскому заводу не на жизнь, а насмерть. Не щадя живота своего. Не вылезая из телогрейки. После дня через сутки, после ночи через двое. В другие дни тоже: вместо больных и кому не до работы. В самой буче, боевой, шипучей. Не комнаты ради и даже не зарплаты для.

Общежитие, где у Маши комната была, почти в самой Москве стояло. Сразу за кольцевой, чуть не долетая аэродрома. Комната Маше выпала по той же причине, что и Оле: не москвичёвское это дело в холодном подвале шипучку по бутылкам рассовывать. Зарплату в не лучшие времена натурой выдавали. Так что раз в год у Маши даже деньги могли быть. Если натуру по знакомым распродать удавалось. А не удавалась, так и дарила: не самой же пить. Ну, совсем непьющая уродилась. Как и Оля. Ох, везде эта Оля! Подумаешь, учителька! То ли дело сменный технолог.

У Маши примерно такое звание на заводе было. Она на него не один день училась. Дальше, правда, не светило без диплома. Не обязательно шампанского, хотя бы библиотечного. Тут как раз библиотечный институт в звании повысили и в университет культуры перекрестили. И такая удача: он тоже за кольцевой. Очень удобно, всего три пересадки. Стала Маша заочницей. Как Оля. Да ну её! Ну или не ну, а без Оли не обошлось. Потому что обе из одной деревни. Где немецкий... В общем, вы поняли. Контрольные для Маши Германист тачал, как сапожник, с ноги. На Машу старательно не смотрел. Чтоб не польхнуть от её лучезарности. При этом никакой дурой беспамятной

не обзывался. Маша, вопреки курносо́й неотразимости, ещё и способностями воссиять могла бы. Не только в шампанском подвале. Германист ей для быстроты и пуше́й надёжности понадобился. Запросто сама бы управилась. Не зря же через много лет он её даже к своему делу приспособить попытается. Пусть не получится, но она ж не виновата, что от неё в метро негде сесть, чтоб не познакомиться. Ехала к Германисту, а занесло в соседний дом к попутному завлекальцу.

Зато она до сих пор помнит, как Германист ей на экзамене сгодился. Перед тем как отвечать, вышла на минутку и — к телефону-автомату. Германист педалями крутанул и тут же прискакал. Благо тогда рядом жил. Что-то подсказал, в чём-то уверил. Она за своей «пятеркой» ушла, а он только дома углядел, что к Прекрасной Даме на железном коне в разодранных портках метался. Впрочем, ей и не до того было.

Жизнь дальше понеслась, пусть даже и с дипломом. На остатках здоровья доработалась Маша до заводской квартиры. Там и до личной жизни рукой подать. Дочку Маша родила точно в том же возрасте, что и Оля. И мужик у неё точно такой же. Женатый в другом доме. Если на Арбате только такие, то откуда же за кольцевой другим взяться.

Германист о ней через Олю наслышан и навсегда благодарен. Когда-то Маша к нему свою подружку привела. Вошла в его дом всё та же немецкоязычная нужда. Аспирантка Ирина. Теперь-то она уже давно защитимшись и чуть ли не в доцентах ходит. Вернее, ездит. Из родительского дома, электричкой за сто вёрст. Москвичей жить учит. Социологию им преподаёт. Когда Ирина у Германиста впервые появилась, эту науку только-только из продажных девок империализма реабилитировали.

Ирине в ту пору сильно не до социологии было. Началось как у всех. Почти московский вуз. Общежитие в шестнадцать

этажей. Автобус до метро каждый день ходит. Учись — не хоч. В том-то и дело. Потому что сперва замуж, сын и развод, а с дипломом из общежития живо вылетишь. Но от диплома, как ни старайся, не спастись. Тогда в секретарши податься: вон сколько пишмашинок по всему вузу понатыкано. Пишмашинка хорошо, а аспирантура лучше. Очная ещё лучше. Пять лет жить можно. Или шесть. Если дочку родить. Ну, от того же, уже разведённого, вам-то что. Зато ещё год-другой на продлёнке. В конце концов выпрут, конечно. Но это уж потом.

Трудности бытия наматывались на неё клубком. Как ни крутись, только запутываешься. Мама с папой и рады бы помочь, да много ли они могут, врачи из полуразваленной больницы. Пожалуй, диссертацию лучше всё-таки достряпать. Пока не прокисла. Хорошо, что Германист уже чего-то нашинковал на своём сканере из её книжек-бумажек. Дальше сама. А хоть бы и через три года. Зато теперь — нарасхват. Потому что не москвичёвское это дело студентов учить...

\*\*\*

Ежели кому-то интересно, не от Германиста ли у всех троих пятеро детей, то пусть сидит и только об этом думает. Самое москвичёвское дело.

## Как хорошо быть стенолазом!

В былые времена он серьёзно зарабатывал. Редкий гонорарный день обходился без звонка.

— Ты не мог бы помочь?

— Приди и возьми.

— Ну, ты и жлоб! Где ж я возьму столько времени!?

— (Из-под потолка) ?!?!?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Порой он оказывался позарез нужным.

— Мне очень-очень надо, архисрочно! Можно, я приеду?

— Приезжай, сделаю.

— Ты несносен. Будто не знаешь, что в ближайшие две недели я приехать не смогу!

— (Из-под потолка) ?!?!?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Пожалуй, и теперь от него есть некая польза. По крайней мере, некоторые так думают. Если иногда звонят.

— Ты не знаешь?..

— Знаю.

— А как бы мне это сделать?

— Попробуй вот так.

— Ты что, издеваешься?! У меня и без этого голова разламывается!

— (Из-под потолка) ?!?!?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

## Від шлюбу до шлюбу

Жила-была девочка. На Украине. Там теперь никто не живёт, потому что по чьей-то верховной дури все аборигены разом оказались в Украине. Девочка эта тоже там давно не живёт, но просто от перемен в личной географии. Надо сказать, жилось ей там очень хорошо и даже счастливо. Она любила всех, и её любили все: папа с мамой, сестра-близня, прочая родня и ого-родная живность. В родном доме жилось, как пелось, и многого хотелось. Главное, — поскорее вырасти и чтобы такой же добрый дом с песнями, но уже свой.

В хотении её не было ничего противоестественного. Поэтому оно сбылось. В заботах о двух поющих дочерях и поющем муже училась в местном, а потом почти московском институте для поющих дарований. Всем семейством перебрались в серединку России. Любимый муж дослужился здесь аж до двухкомнатной. А ещё была избушка в деревне.

Первый раз шарахнуло, когда от скоротечной хворобы умер муж. От убийства по ушедшему юную вдову спасла только счастливая нужда выращивать дочерей. Да и перестроечная сумятица побуждала шевелиться, а не руки заламывать. Вдова хоть и работала в социально не защищённой культуре, но объездила со своим ансамблем всё прилегающее, сопредельное, а частью и запредельное культурное пространство. В одной из поездов немецкая знакомая образовалась. Через неё удалось выучиться местному наречию, а попутно и машиной рулить.

Когда вдовья печаль отпыхала, опять гнездовой жизни захотелось. Добрый мальёк всем был хорош, да ещё и молод. Но лет через шесть устала она его обихаживать на манер третьего дитяти и отпустила — пусть женится.

В областном центре тогда третья тысячелетка была, со всеми её причндами. Телевизор уже ото всего лечил, а интернет с кем хошь знакомил. Всемирнопаутиный москвич живо откликнулся, позвал, встретил, помыл с дороги, накормил, поговорил и при себе оставил. Вдовица за ним готова была хоть по снегу бегать. С телекамерой. То ли от этой беготни, то ли просто от радости, но расхворалась счастливица. Всерьёз и надолго. О чём москвич вовсе и не думал мечтать. Тем более, что она на двадцать лет моложе

Второй раз шарихнуло, когда нечаянно подглядела: москвич шарит по интернету, кого поздоровее выискивает. Одна к нему даже за две тыщи вёрст на машине прикатила. Потом сгнула, конечно, но он-то ради такого свидания вдовице погулять велел. По августу подежурить. До сентября.

Вдовица от безысходности — за МКАД. Там, километрах в десяти, тоже интернет был. У инвалида умственного труда. Вдовица за ним ходила. Он её обожал, поскольку на иные утехи уже был не гош. От лучезарной жизни он подарил ей свою квартиру и на радостях умер.

Погоревала она и стала жить дальше. Уже никого не искала. Но благодаря трудам своим и песням она к тому времени в городке уже заметным человеком стала. Поэтому её нашли. Сперва в областной центр (не Москву, а туда, где дочери) друга детства замуж позвал. Согласилась и поехала. Бы. Когда б не местный воздыхаль. Перехватил её поперёк билета на электричку и уволок в загс, на первичное дознание. Оттуда — к себе. Сдала она дарёную квартиру в наём и купила в долг иг-



рушку давней мечты. Катается на корейской божьей коровке, наслаждается жизнью и... каждый день тревожно звонит москвичу.

Всё пытается его, выходить ли ей замуж. В смысле, года подпирают, а без любви как-то не очень. Москвич сам ничего не предлагает и вообще строит из себя дипломата: раз есть сомнения, то лучше не надо. Явно не тот совет, которого она ждёт. Дни уходят, загс окончательно надвигается, а она только мечется промеж хочется и колется.

Тут её показали по телевизору. Как образец для подражания, но в какой-то убойно скушной программе для бесхозных домохозяек. От бесхозности они толстеют и активно берегут себя от здоровой жизни. О передаче москвич был предупреждён, с просьбой непременно записать. Сидит, пишет, зевает, фильтрует всякую тягомотину и отсекает рекламу. Наконец, вот — она. Кошмар, как же она постарела!

И что теперь ей сказать? Ведь наверняка спросит о впечатлении. Москвич нехотя досматривает и непроизвольно придумывает, как бы извернуться. Тут она сама ему в телефон с ужасом вопит: “Кошмар, как же я постарела! Надо скорее замуж, пока берут!”

## Маша и Медведь

Жила-была... А вот и нет. Сначала никакой Маши не было. Долго-долго. Тридцать лет и ещё полтора года. А Медведь всё это время уже был. Сначала ещё не Медведь, а только Медвежонок. Но аппетит у него сразу был не медвежоночий, а совсем даже волчий. Причём всегда. А вот еда почему-то была наоборот, не всегда. Чтобы не думать о еде, которой нет, медвежонок усердно учился в лесной школе.

Едва он начал учиться, как на него стал нападать стих. Это огонь такой невидимый, от которого начинаешь говорить в лад, в рифму. Рифмовать Медвежонку понравилось. А ещё ему нравились уроки закордонного рёва. Правда, учили его только по книжке. Так что ему никак не удавалось научиться ни реветь по-закордонному, ни понимать, о чём режут закордонные медведи. Для этого, когда он вырастет, ему придётся пройти ещё и высшую школу. А пока он нашёл в книжке страничку с закордонными рифмами и придумал им свой переклад.

Те рифмы были классическими. То есть такими, у которых сто лет позади и столько же впереди. Не удивительно, что всего через сорок лет они попались на глаза Маше. Которая уже не только была, но стала большой и самой умной Машей. Она прочла много книжек и всё читала, читала. Даже глаза испортила, но читать не бросила. Уж очень ей были интересны все слова во всех книжках. Она и сама могла любые слова складывать, вычитывать, умножать, делить, возводить в степень и извлекать из них корень.



И ещё она была очень любознательна. Поэтому когда она увидела классические рифмы, то ей очень захотелось узнать, кто, когда и как переложил их по-своему. Сначала она, конечно, всё выведала по книжкам. А потом на всякий случай спросила у мамы. Мама когда-то давно работала в той самой высшей школе. Там и познакомилась с молодым Медведем. То есть это он вообще был молодой, а для неё слишком старый. Ведь она всего год была совершеннолетней, а он уже был зимним и не раз. Поэтому мама вышла замуж не за Медведя, а за папу Маши, которой ещё не было. А Медведь остался старым знакомым. И да-

же бывал в доме, когда Маша была маленькой. Теперь мама вспомнила про старого знакомого. Через маму Медведь передал для Маши свой школьный переклад, без которого у Маши не получался полный расклад. А теперь получился.

Скоро Маша окончательно выросла и стала жить сама, без мамы. Она пошла работать в школу, потому что была словесницей и могла научить детей правильным словам. Но глупым детям казалось, что с неправильными словами жить гораздо лучше. Таких детей Маша не могла любить и очень от них уставала. Дома ей тоже некого было любить, потому что там никого не было. А когда человеку некого любить, он много думает. От этого болит голова и нельзя радоваться жизни.

Радоваться Маша ещё очень хотела. Ведь она была молода и считала, что хороша собою. Медведь так не считал, потому что не туда смотрел. Но у него дома тоже никого не было. Ему даже некого было поздравить с Новым годом. И тогда он поздравил Машу. Они поговорили о разных знакомых словах. Хотя на самом деле им просто хотелось встретиться. Чтобы жить в одном доме. В котором у Маши будет свой Медведь. А у Медведя — своя Маша. Скоро так оно и вышло.

Тут и сказке конец. Потому что дальше уже не сказка.

*Города,  
где я бывал...*



## Из Москвы в Ленинбург

Летом 1962 г. решил прокатиться в Ленинград. Был у меня старинный *Diamant* — обычный дорожный велосипед, без прибабасов. Терзал я эту железку нещадно, но и чинил неустанно. Перед поездкой сочинил из фанерки и двух дюралек второй (передний) багажник. (Только лет через двадцать Харьковский велозавод стал выпускать *Украину* с двумя багажниками.) Каково управлять рулём при нагруженном передке (впереди восседал рюкзак, а на заднем багажнике ехала тяжеленная двухместная палатка), я ощутил уже после старта, но освоился, хотя первые километры по Москве дались не без содроганий.

Впереди были 720 км, встречный ветер, недельные дожди, порванные спицы, ночёвки в случайных местах и прочие прелести самодельного велотуризма. Надо учесть, что до моих грядущих марафонов оставалось больше 20 лет. Но в активе были 5 лет в институтской лыжной секции. Поэтому смело запланировал для себя 100 км как суточную норму. Я-то её выдерживал, а вот мой *Diamant* сразу же посыпался. Главная беда — тонкие, давно поржавевшие немецкие спицы. Выручило чьё-то старое, выброшенное колесо, которое мне "подарили" в кемпинге на 115-м км. Оно само никуда не годилось, но спицы в нём прекрасно сохранились. Без такой "техпомощи" я вряд ли бы уехал далеко.

Правда, обретений без потерь не бывает. В том же кемпинге лишился половины своих мясных запасов: местный пёс умудрился развязать мой рюкзак и сожрал одну из двух коп-

чѐных колбасин. Оставшуюся пришлось потом разделить где-то в Новгородской области с местными мальчишками: они набежали просто из любопытства, когда я уселся перекусить у дороги. Надо было видеть, какими глазами они пожирали мои бутерброды. Оказалось, я попал в те края, где не то что колбаса, а даже хлеб в ту пору был дефицитом. А я-то наивно думал, что послевоенная недоедаловка повсеместно и давно кончилась.

Много лет спустя выяснится, что моё путешествие совпало по времени с голодным бунтом и расстрелом рабочих в Новочеркасске. Если верить тогдашним газетам и радио, то мы всю догоняли Америку по производству еды на душу населения. На игру в догонялки нужны были деньги. Поэтому с 1 июня 1962 г. на треть выросли в цене мясо, масло и молоко. Сейчас это звучит обыденно, а тогда это было первое официальное подорожание после серии послевоенных "сталинских" снижений. В Новочеркасске это событие совпало со снижением сдельных расценок на ведущем предприятии города — электровозном заводе. Недовольства хватало по всей стране, но здесь дело кончилось трагедией в духе 1905-го года: десятки убитых на площади и семеро расстрелянных по суду. Конечно, в Москве продовольственный дефицит не был таким жгучим, как в провинции. Но даже здесь летом 1963-го вводились талоны на крупы, муку и т.п.

Где-то за Калинином моё путешествие перестало быть одиночным: я присоединился к двоим таким же туристам. Мы несколько дней помогали друг другу, чередуя лидерство в езде против ветра. Расстались на какой-то развилке перед Ленинградом. Самый весѐлый эпизод совместного пути — подъѐм после ночѐвки у комариного болота: наши физиономии распухли до полной неузнаваемости; все трое ржали от души, глядя друг на друга и в зеркало. После этого въезжаем в Новгород и хотим



сфотографировать вид с моста на Ильмень-озеро. Тут местный милиционер возжелал увидеть наши паспорта. Увидел, но долго мучился, сличая фото с нашей покусанностью и недельной небритостью.

Встречный ветер, дожди, дырявая палатка и частые поломки измотали меня невероятно, но на седьмой день я въехал таки в Ленинград. На перекрёстках стали приставать местные ГАИшники: оказалось, что в городе надо иметь удостоверение на право вождения велосипеда. Отбрехался тем, что "сами мы не местные": преодоленный километраж внушал уважение даже милиции. Ночевать было негде. Палатку в городе не поставишь, а мест в советских гостиницах не было никогда. Выручил брат, который ещё в Москве дал телефон своего бывшего преподавателя. Тот меня знать не знал, но он и его жена приняли меня, как родного. Впервые за всё путешествие я отмылся и ночевал на чистых простынях.

Надо сказать, что в те поры я воспринял это так же, как и любую помощь от любых других людей, искренне полагая её не любезностью, а нормой. Я всё ещё жил детскими представлениями военной и послевоенной поры, когда, как мне казалось, бескорыстная поддержка разумелась сама собой, поскольку была условием общего выживания. Более того, принцип "ты — мне, я — тебе" считался если не противоестественным, то уж наверняка аморальным, а то и противоправным.

Повторять изнурительный поход в обратном направлении на абсолютно раздолбанном костотрясе не захотелось. Я поставил велосипед у стены Московского вокзала и ушёл за билетом. Когда вернулся, вздохнул с облегчением: пусть теперь мучается тот, кто польстился. В Москву вернулся без приключений, с твёрдым убеждением: никогда больше!

## За солнцем в Прибалтику. Верхом на Украине

Июль 1982 г. в Москве выдался удручающе дождливым. Зато на Рижском взморье — жара и благодать. Терпеть такую несправедливость не было никаких сил. Так и подмывало на мичуринский подвиг: "Мы не можем ждать милостей от природы. Взять их у неё — наша задача". И я решил взять. Отпуск. Пospорить если не с природой, то хотя бы с московской погодой. По иронии судьбы, я, тогда уже кандидат автомобильных наук, своей машины никогда не имел. Из принципа ездил за рулём только на государственных. Но велосипед у меня был свой: на сорокалетие сослуживцы подарили ХВЗ-110, самый железный в мире хохлотряс. Со знаком качества. В рейс я его готовил на скорую руку: заменил хлипкие стойки переднего багажника и поставил новый счётчик — для самоконтроля.

Больше возни было с палаткой. Залатал дыры, сделал разборные стойки и инвентарные крючья (вместо колышков), сменил верёвки, подшил накидку из полиэтилена, — в общем, привёл в порядок ту самую старушку 1957 г. рождения, с которой в 1962-м ездил в Ленинград. Довершали спальный набор надувной матрац и древнее, как я сам, одеяло.

Из харчей в дорогу взял вафли (может, кто помнит, — "Ягодные", по 21 коп. за пачку), "рогатый" супчик ("вермишелевый, с мясом" назывался, по 33 коп за пакет, а на пакете корова нарисована) и чай. Хлеб покупал в дороге.

Вода — из придорожных колодцев и водоразборных колонок. На старых дорогах с водопоем проблем нет, а вот на новых можно и козлёночком стать. Например, от Каширы до Тамбова шоссе проложено не вдоль населённых пунктов, а в лучшем случае поперёк, с интервалом между колодцами в сотни километров.

Прихватил костровые принадлежности: нож (вырезать лунку под миникостерок), сухой спирт (одна таблетка на каждый розжиг) и проволочный подвес для кастрюльки. Укомплектовал инструмент: пассатижи, отвёртка, велоключи, шведик (разводной ключик). Из запчастей взял спицы, подшипники, педальные клинья и мелкий крепёж. По закону подлянки, ничто из этого не понадобилось. Понадобилось нечто иное. Но об этом дальше.

Маршрут оставался загадкой до самого старта. В тогдашнем атласе автодорог направление Москва — Рига было именно таковым, не более: магистраль только строилась. Чтобы не рисковать, двинул на Смоленск, а далее через Витебск, Даугавпилс и Ригу до Юрмалы. Уже в Риге побеседовал с дальнбойщиками, которые подтвердили: прямая дорога на Москву есть. Так что обратный путь (через Мадону, Пустошку, Сокольники Псковской обл. и Волоколамск) получился на сто вёрст короче.

Всего предстояло одолеть примерно 2100 км. На это отвлёл 14 ходовых дней. Уложился в 13, иначе говоря, проходил от 150 до 180 км в день. Плюс 3 дня — на заслуженный отдых у моря. До Смоленска катил по роскошному асфальту, как лыжник: вниз-вверх, разгон-накат. А вот *сябры* подсурипили: на участке от трассы Москва — Минск до Витебска и дальше шёл ремонт. Покрытие здесь вздумали укрепить не щебнем, а булыжниками. Возможно, так утилизovali каменюки, собранные на полях. Тем более, что вываливали их на дорогу из обыч-

ных сеялок. Бульги размером со здоровенный кулак едва прилипали к битуму, который дорожники явно сэкономили. Машины ползли крадучись: водители опасались за лобовые стёкла. А мне оставалось трястись по обочине. Около 400 км. Намучился, конечно. Зато границу с Латвией осязнул с удовольствием, как скачок из Азии в Европу: дорога, будто испугавшись за своё звание, вдруг стала нормальной.

Лирическое отступление о славянском гостеприимстве. Некий пожилой белорус, узрев со своего хуторочка мои приготовления к бивачной ночёвке, буквально затащил меня к себе в дом. Угощал он меня так, что ведёрной ёмкости блюдо со сметаной помню до сих пор. Пока я насыщался, он рассказывал мне о своих сыновьях и хуторском хозяйстве ("пашИ, сколько одолеешь"). И никак не мог взять в толк, почему я не хочу переночевать по-человечески, в его роскошной горенке. Я поблагодарил, но уполз-таки в свою палатку: свобода слаще халявы!

Для контраста — совсем иная картинка. Подыскал я как-то полянку для ночлега и только начал располагаться, вижу: шагах в десяти некая латышская семейка построилась, как в пикет, и молча выжидает, чтоб я исчез с ИХ земли. Пришлось исчезнуть без объяснений. Позже, уже в Риге, сделал ещё одно неприятное открытие: местные жители гораздо охотнее общались со мной, если я заговаривал по-немецки. Ответа на обращение по-русски можно было не дожидаться вовсе. А ведь латыши — тоже славяне, хоть и западные!

Примерно за сотню километров до Риги — первое настоящее приключение. На затяжном спуске что-то вдруг треснуло под седлом, оно перекошилось, я чуть не рухнул и возопил от боли: в правую ягодицу воткнулся (как потом выяснилось) обломок подседельной пружины. Когда через сутки я стирал свои тренировочные брюки в море, оно покраснело от моей крови.

Но до моря надо было ещё добраться на кривом сиденье, т.е. практически стоя на педалях, порядка 150 км. Утешало одно: дорога от Риги до Юрмалы оказалась первоклассной и почти пустынной. В кемпинге, где-то за Юрмалой, я раскинул палатку, сдал вел на хранение и электричкой рванул назад, в Ригу, за подседельной пружиной.

Ха-ха-ха! Тогда вам не сейчас! Купить удалось только седло целиком, за 5 руб. (пружина стоила бы 40 коп.). Ехать назад на новом, необъезженном седле из "деревянной" кожи не хотелось. Поэтому вынул из него только пружины, одну поставил в старое седло, а новое даже не повёз с собой: тяжёлое же!

В столовой кемпинга случился со мной эпизод, который много лет спустя все видели в фильме "Хочу в тюрьму". Помните, там главный герой (в исп. Ильина) пирует в уличной харчевне, а публика оплачивает его раблезианскую трапезу как аттракцион. За меня никто, разумеется, не платил, но всё население столовки таращилось, когда я поглощал в одиночку четыре или пять комплексных обедов кряду. Ну, странно людям было, что после 1100 км на велосипеде почему-то есть хочется.

Всё же не зря я прикатил в такую даль за хорошей погодой. Три дня отмокал в море и нежился на пляже. Отдохнувший, покатил назад. В спину дул попутный ветер: даже в сильнейшую грозу это позволяло не останавливаться, а мчать с приличной, до 30 км/ч, скоростью. Где-то возле Пскова меня догнала кавалькада велогонщиц. Пристроился в хвост и держался до самого их финиша. Это на моём-то дорожном, да ещё с бытовым перегрузом. Ветер помог, конечно.

А вот одному встречному велотуристу как раз с ветром-то и не повезло. Мы остановились, поговорили. Совсем, как в пьесе "Лес". В отличие от меня, встречный ехал на гоночном велосипеде и вёз за спиной даже не камеру-трубку, а целиком коле-

со. Седло у гоночного такое, что ехать приходится практически на палочке верхом. Когда я сказал об этом, коллега махнул рукой: всё равно против ветра едешь стоя.

Где-то за Западной Двиной пережил ещё одно вело-ДТП. Гоню под уклон и вдруг слышу страшный скрежет; откуда-то из-под педалей вырывается сноп искр; вел мотает, и я куврыкаюсь в кювет. В полёте думаю: до Москвы ещё 500 км, а железная дорога неведомо где. Оказалось, от тряски заднее крыло переломилось, передний кусок крыла упал под заднее колесо, тормоза об асфальт и рассыпая искры. Остальное — только испуг. Короче, закрепил обе половинки крыла и так доехал до Москвы.

Однажды ночевал на островке посреди ручья. Утром пришла корова и сунула рога в открытый проём палатки. Только я её прогнал, как прибежала хозяйка и долго орала непотребщину, а в такт словам махала топором. Я хоть и глуховат, но понял, что она обо мне думает. На всякий случай слинял по-быстрому. От греха.

Проехав Зубцов, впервые за всю дорогу по-настоящему уснул: завтра Москва. Меж тем и здесь погода наладилась. Промежуточный финиш устроил на даче в Снегирях, где сюрпризом свалился на огорошенное семейство.

Снова, — как после Ленинграда, — решил: никогда больше!

## Отмороженный лыжник на родине Ильича

Истеричные вопли телевизора по поводу январских морозов 2006 г. в Москве раздражали, надо полагать, не только меня, но и других аборигенов, родившихся в СССР до эпохи сиротских зим и затяжных оттепелей (СИЗО). Мне, к примеру, памятна зима 1961-62 гг., которую провёл в Ульяновске. Обычная для тех мест и тогдашних лет зима — снегообильная, но морозная: от 20 до 25 градусов в течение всего декабря, а затем и января. Для местных, как, впрочем, и приезжих, ничего особенного. Люди жили, работали, ждали трамваев; не дождавшись, шли пешком, порой через весь город, уворачиваясь от пронзительного ветра. За три месяца я не видел ни на улицах, ни в трамваях ни одного пьяного. Кондукторша объяснила: отсиживаются по домам, потому что знают: вырезывателей нет, милиция не подберёт; в вагонах холоднее, чем снаружи; короче, оказаться пьяному вне дома — верная погибель.

В Москве тогда тоже было не жарко. Принципиальных отличий у столицы было два. Во-первых, есть метро, где всегда можно согреться. Во-вторых, есть чего есть, в смысле калорийной белковой пищи. Сколько бы ни воспевали вегетарианство, но без мяса и животных жиров жизнь любого человека, а тем более лыжника, мягко говоря, проблематична. Однажды моего товарища по команде, который жил в общежитии, на нищенскую стипендию, упрекнули за неожиданно плохой для него результат на финише. Он ответил просто: "А вы попробуйте сами пробежать тридцатку на одной черняшке!"

В Ульяновске, как и прочих поселениях вне Москвы, проблем с мясом не было, поскольку не было и самого мяса. Но, как говорит тот же телевизор, выход есть. По воскресеньям население областного центра перетекало в соседний городок Мелекесс, где — видимо, из-за обилия военных — какой-никакой мясной харч всё же водился. Городок еженедельно опустошался, и магазины в нём перестали работать в воскресенье (суббота стала выходным днём только лет через пять, в 1966-м). На предприятиях Ульяновска резко подскочило число местных командировок, понятно, куда. Во всяком случае, среди работников автозавода, где я проходил преддипломную практику, наиболее употребительным было слово "Мелекесс". Я не знал, что это город, думал, предновогоднее заклинание.

Ещё в Москве знающие люди, в частности, коллеги по предстоящей командировке предупреждали: закупай еду, бери с собой. Но, во-первых, через 16 лет после войны как-то не очень верилось в рассказы о полуголодной стране: ведь живут же люди и в Ульяновске. А во-вторых, на три месяца всё равно не запасёшься. И хорош бы из меня был мешочник, в самолёте. Правда, я-то поехал поездом: куда там с лыжами в ИЛ-14!

Ну, купил я вязанку "одесской", подвесил её в авоське за окном общежития на высоте второго этажа. Вот ведь, приходится и об этом напоминать: домашних холодильников тогда тоже практически не было! И срЕзали мою колбасину в первый же день! Только огрызок авоськи все три месяца про неё напоминал.

Через полгода мне придётся-таки поперхнуться московским бутербродом где-то под Новгородом. А пока выходим из положения по-ульяновски. В столовых смело поглощаем настоящие мясные котлеты "И-го-го!", вместо праздничной закуски берём кабачковую икру, а картошку жарим на маргуселине (это не гуталин, а маргарин с примесью гусяного жира).



Если с пропитанием всё выяснилось в первый же день, то лыжные дела провисли. Лишь после новогодья я нашёл на какой-то доске объявлений дацзыбао, по которому вышел на представителя лыжной команды УльЗиС'а. Это не фамилия, а сокращение от "Ульяновского завода имени Сталина". Автозавод, который родился здесь в войну из эвакуированного московского производства, ещё не утвердился в местной лексике как УАЗ. Когда я представился, командор перепугался, замахал руками и завопил: "Не дам!" Очевидно, решил, что я пришёл просить лыжи.

Испуг вполне понятен, если знать, какими кривыми путями добывали мало-мальски сносный и потому дефицитнейший инвентарь тренеры и спортсмены. Перекупали у тех, кто ездил за границу. Получали кое-какие импортные крохи от спорткомитетов. Оформляли по безналичному расчёту вдвое больше, чем брали со склада. Нет смысла говорить, что в открытой продаже был только заведомый утиль. И конечно, в распределении царствовал блат: спортивный дефицит скорее оказывался у жены предместкома, чем у лидера заводской команды. По молодости я даже не задумывался, а где и на какие деньги наш тренер достает 'Swix' (5 руб. банка на чёрном рынке), которым перед соревнованиями сам мажет лыжи всем своим подопечным.

Так или иначе, мне стоило долгого разговора успокоить затурканного физрука. Когда он наконец поверил, что перед ним не проситель, мы сразу обо всём договорились. В команду меня, разумеется, не возьмут: слабоват на фоне сплошных кмс'ов. Но побегать для тренировки по дистанции предстоящей гонки вполне можно.

В ближайшее воскресенье паровоз с тремя дореволюционными вагонами часа полтора волок меня, в компании с заводскими и городскими лыжниками, до какой-то продрогшей станции.

Потом мы дотопали до деревни, где и разместились в одном из домов. До старта ещё оставалось время, но мне ждать было нечего, и я ушёл на дистанцию. Решил так: пройду по всей 15-км петле, а там видно будет.

Бегу по разметке, аж жарко стало. Из расчёта на быстрое передвижение одевался я тогда весьма легкомысленно. Бумазейный свитерок поверх футболки да тренировочные штаны с утеплителем где надо — вот и вся экипировка. Скоро мимо меня помчались гонщики с номерами. Чтобы не мешать и не сходить поминутно с лыжни, перешёл на трассу с разметкой другого цвета. Подумал, что в любом случае вернусь к финишу.

Если бы! На бегу и не заметил, что разметка исчезла во все. Темп упал, я начал мёрзнуть и впадать в тихую панику: названий ни деревни, ни даже станции я не запомнил. Да и спрашивать не у кого: на лыжне я один среди леса и 20-градусного мороза. Запомнил только, что обратный поезд в 16 ч. А следующий — через неделю! Об этом меня предупредили ещё в вагоне. Время около двух. Значит, бегал и плутал уже часа три. Ещё час метался по разным лыжням, потом нашёл какую-то разметку совсем нештатного цвета, по рельефу определил её направление и до-олго шёл по ней, сомневаясь: может, встречно ближе?

Уф! Вот и деревня. Похоже, та самая. Выбираю дом наугад. Мне дико везёт: УльЗиСовцы были именно здесь. Но ушли к поезду, прихватив и мой рюкзак: решили, что я прикачу прямо на станцию, прозорливцы. Дальше — почти как у Жванецкого: "Смеркалось". По заснеженному просёлку я гнал быстрее паровоза и примчался в последнюю минуту. Зато в промёрзшем вагоне мне хотя бы поначалу было теплее остальных: проводник ещё только растапливал в тамбуре "буржуйку".

В последующие выходные задача упростилась. На другом конце города нашёл лыжную базу. Добирался двумя трамваями,

причём второй встал посреди маршрута: Чубайс тогда ещё не родился, а отключения уже были. Дошёл пешком. Рядом с лесом стояла изба. Внутри — печка-голландка и при ней истопник, сторож, зав базой и т.д. в одном лице. Лыжников, кроме меня, — никого! Лыжни никакой и нигде. Поэтому смело забурился в лес (обратно — по своим следам!), продавил в сугробах километровое кольцо, проутюжил его в четыре колеи (две для лыж, две для палок), в общем, укатался.

Ещё через неделю умудрился назначить на той же лыжной базе свидание некоей аборигенше. Увидел её в окне полуподвала, когда ездил по делам в центр. Пообщались жестами, потом, рискуя простыть, она приоткрыла форточку, и мы договорились о встрече.

Дама 16 лет оказалась вполне подвижной и не очень-то отставала на лыжне, поскольку мне опять пришлось торить. Компания приятная, но при минус 22 особо не разговоришься: я пыхчу изо всех сил, а она видит, в основном, мою спину. Знакомство кончилось ничем, но юная морозоустойчивая особа осталась в памяти едва ли не главной местной достопримечательностью.



## Шапка-неедимка

«Сижу аэропорту шлите десять телеграфом». Деньги придут. Через неделю. Я уже буду в Москве. Где и узнаю: бухгалтерия моей конторы сэкономила на мне для великой страны аж 90 копеек и бросила спасательный червонец не телеграфным, а обычным переводом. Потом вычла его из меня. И сама же вернула, — когда он возвратился не востребовавшимся.

Пятидневная отсидка в иркутском аэропорту — самое памятное впечатление о поездке в Сибирь. На исходе были декабрь и весь 1966 год. Автобус увёз меня из Ангарска в пять утра — якобы прямо к трапу самолёта. Как всякий нормальный командированный, я заначил последние копейки на электричку от Домодедова до Москвы и ещё пятак — на метро. Пообедать надеялся в самолёте. Кто ж знал, что стратегические бомбилы Ту-104 настолько метеозависимы?

Трасса закрылась на взлёт сразу на запад и на восток. Иначе говоря, сажали всех — оттуда и отсюда. Зато осточертевшая дикторша неумоимо звала на север: в Якутск и ещё куда подальше. Вылет на Москву откладывался на час-два, потом опять на час-два, и так в течение пяти суток. Рейсы копились и объединялись. Конкуренент не дремал. Железнодорожная касса активно набивалась свободными местами. На середину января. Да хоть бы и на сейчас: конвертировать мой безналичный авиабилет в наземные рубли было всё равно невозможно.

Нельзя было надолго отлучиться в город. Мы ведь уже прошли регистрацию (ещё в Ангарске!). Наш багаж был неве-

домо где и тоже дожидался команды на взлёт. То был первый и единственный случай в моём общении с Аэрофлотом, когда я — по большой нужде — летел с чемоданом. В нём были транзистор "Сокол" и к нему — восьмикилограммовая магнитофонная приставка, с учебными записями от ин'яза. Поверх чемодана была привязана зимняя спецовка. С таким пригрузом не подёргаешься. Даже при лётной погоде. А теперь надо было просто дежурить в здании аэровокзала. Его моментально заполонили застрявшие недоленцы. Среди них преобладали пьяные (м)орды в драных телогрейках. Затор в небе пришёлся на пик зимнего призыва. Распоясанных постриженцев надо было, — кроме всего прочего, — регулярно кормить. Чтобы хоть как-то с ними совладать, командиры вызвали из города комендантский взвод.

К вечеру место на каменном полу становилось дефицитом. Но я, как и все, ухитрился где-то притулиться и тревожно продремать ночь. На третье утро ожидательная тревога плавно перешла в смиренную безнадёгу. Штурм неба не удался. Надо было думать об осаде. Заначенных копеек хватило на ту самую телеграмму из пяти слов. Организм окончательно вошёл в режим ожидания и захотел есть. Меж тем халявный поднебесный обед по-прежнему ежечасно откладывался. На телеграф я наведывался после каждой очередной отсрочки. Меня узнавали издали и сочувственно разводили руками.

И тогда я съел шапку. Ту, что купил перед отъездом в Москве. Напугали меня рассказы о сибирских морозах. До той поры шапок не носил. Уши прятал в овчинном воротнике или под наушниками. Горячая голова вроде и не мёрзла. Пятирублёвая шапка-фуражка из серого якобы каракуля провалялась два месяца в чемодане. Ангарские холода оказались не злее московских. Но аккурат перед отправлением в аэропорт шапку

пришлось выложить: накопленные служебные бумаги не лезли в чемодан. Так я и мыкался по аэровокзалу, держа в руках необходимое приложение к голове. При очередном заходе на телеграф вдруг слышу: «Эй, мужик, почём шапку продаёшь?» Жаль, атеист, а то бы решил: ангел-хранитель окликнул.

Вырученной пятёрки с лихвой хватило, чтобы дожить до взлёта. Когда объявили посадку на рейс до Москвы, народ не шевельнулся: не поверили. Потому что так уже бывало: объявят, а через четверть часа небесное окно захлопнется и — снова отодвижка. Но хрипатые репродукторы зазывали уныло и упорно. Мы поползли в стеклянный накопитель. Похоже, и впрямь свершилось: проводница уже шерстила билеты. На радостях тут же, в лётном предбаннике, потратил полтинник на кедровую шишку. Шустрый местный лешак живо расторговал вознагражденным улетантам целый мешок сибирских сувениров.

Ту-104 заглоуп около сотни измятых сидельцев. Никто из них уже не боялся летать. Потому что ничего другого так не жаждал. Все были счастливы. А ведь я, например, впервые в жизни сел в самолёт всего за два месяца до этого. В конце октября, когда как раз и направлялся в сибирскую даль. Причём даль поднебесная пугала меня куда больше. Особенно наяву. Тогда организм напрягся уже на аэровокзале. Нас разлучили с багажом и загнали в прозрачный отстойник. Из него погрузили в автобус, который оголтело понёсся по Каширке сквозь ночь. Потом шлагбаум, аэродром, трап и полутёмный салон. Я нервозно вжался в кресло. Самолёт долго вырুলивал. Когда моторы взревели, я уже обмяк. Самолёт натужно оторвался от полосы. Надо мной зашипело. Подо мной тряхануло. Нутро оборвалось. Оказалось — включилась вентиляция и убрались шасси. До промежуточной посадки в Омске часа три болтались под звёздами по небесным ухабам. Мне казалось, что в каждую яму

Ту проваливался, как оборванный лифт. И падал, пока автопилот добавочной тягой моторов не выровнял полётную синусоиду. До следующей колдобины. Когда кресло ушло из-под меня в первый раз, решил: хана! На двадцать первый понял: это и есть *полёт нормальный*. Предпосадочные подседы, взбрыки, подвороты и вздымания крыл пришлось пережить дважды. Дюралевый птеродактиль был прожорлив: корма хватило лишь на полдороги.

Зато первая половина обратного пути и посадка в Омске вообще не запомнились. От радости, что сижу в кресле и лечу домой, а не валяюсь на газете в зале выживания. Правда, из Омска до Москвы мы не долетели. Ветер удачи сник и на время иссяк. Сели в Куйбышеве. Судя по всему, навсегда: из-под самолётного брюха стали вываливать багаж. Я сосчитал копейки: по солдатской норме (90 коп.) на сутки хватит. Решил: в крайнем случае продам казённые суперпортки. А вот, кстати, и они: мимо меня трактор волокёт багажную тележку. Куча чемоданов укрыта моими, в смысле, служебными ватными штанами. При перевалке они отвязались и теперь живут сами по себе. Как и их подруга телогрейка. Пользуюсь случаем и собираю вещички в кучку. Оказывается, очень даже во-время. Едва увязываю всё воедино, как объявляют посадку на какой-то прибудный Ил-18 до Москвы. В очередь на регистрацию я сиганул первым. С чемоданищем в зубах.

В Домодедове долго ищу глазами электричку. Что за чертовщина: когда успели убрать рельсы? И автобусные остановки попрятали. Ладно, придуриюсь неместным, спрашиваю, где автобус. Выхожу на площадь. Стоит, ждёт. 511-й. Вот назначение: он же раньше во Внуково ходил. Только теперь до меня дошло, где мы сели. А ведь я точно помнил: стюардесса заученно вещала про Домодедово. Нет, что ни говорите, а ле-

тать — истинное счастье. Было бы желание. А нет, — вам могут захотеть.

Понятно, впрочем, что за пять тыщ вёрст я отправился не этого счастья ради, а по нужде. Не своей, а заказчика — Ангарского нефтехимкомбината. Нужда была простая: научно подтвердить заявку в закрома Родины. Чтобы заполучить оттуда побольше машин и запчастей. Потому что комбинат был велик: за час на трамвае не объедешь. А внутри, сообразно, много чего и кого надо было возить. Туда-сюда. Между цехами и службами. По делу и по работе. Мне и коллегам предстояло на месте выяснить: кого, чего, сколько, откуда, куда, зачем, на чём и по чём. Потом определить, чего и сколько ещё надо. Из тех самых закромов. И всё это — за 30 лет до всеобщей компьютеризации. Но мы управились. Иначе чего было мотаться. Да и песня совсем не о том.

Главное, что здесь моё познание страны начало прирастать Сибирью. Иркутск показался совсем невзрачным. В ожидании ангарского автобуса я побродил по городу. Укатанный снег вместо мостовых. Кособокие домики. Этажей всего один-два, удобства во дворе, вода на улице из колонки, зато номера трёхзначные. Потому как улицы длиннющие, от центра до самых до окраин. Нет, пожалуй, нынешнее поколение иркутских людей не будет жить при коммунизме.

Ангарск к нему был явно ближе. Хотя бы потому, что возник не сам по себе, а по замыслу. Ради того самого комбината. Строился не вкривь и вкось, а по-питерски, с прямыми углами. Короче, настоящий город, а не плетёнка из бывших просёлков.

Здесь трамваи бегут по опушке бывлой тайги. Её оставили как санитарный кордон между промзоной и жильём. Правда, сосны усыхают, а таёжная полоса быстро редееет. Днеревья губит т.н. лисий хвост — азотистые выбросы комбината. Рыжий ды-



мок неиссякаемо вьётся над трубами и оседает отравой на соснах и лиственницах.

Околотаёжный трамвай оказался первой местной достопримечательностью. Позже я катался на нём ещё и вокруг комбината. Рельсы уложены в полосе меж двух оград. С внутренней стороны многокилометрового трамвайного кольца — глухой бетонный забор предприятия. С наружной — остатки сторожевых заграждений: высоченные столбы с обрывками колючей проволоки. Такая вот память о строителях.

Главная приятная неожиданность стряслась в самом городе. Известное дело, в СССР все гостиницы могли бы называться одинаково: "Мест нет". А тут случилось немислимое: сходу получил одноместный номер. Иначе говоря, в предстоящие два месяца можно было жить по-человечески. Не шпынять курильщиков. Не вертеть храпящего соседа с боку на бок. Спокойно вершить свой быт. К примеру, работать с магнитофоном. Добить каждую немецкую фразу до победного конца, т.е. до полной расшифровки. Короче, здесь было даже лучше, чем дома, в московской перенаселёнке. Мало того. Через пару недель прибыла вся бригада. Наш предводитель разместил её в главной городской гостинице и уговорил меня перебраться туда же. Разумеется, в одноместный номер. Ну, чем не коммунизм в отдельно взятой "Тайге" (как вам название отеля)?

Счёт времени здесь тоже своеобразен. В шесть утра репродуктор, как и положено, играл бессловесный гимн, а потом торжественно вякал: "Московское время один час ночи!". Ангарское время этот матюгальник сообщал только в часы местного вещания, да и то в скобках, после московского. Аборигены гордились своим часовым поясом. Их жизнь неслась вприпрыжку, на пять часов впереди столичной. К примеру здесь давно уже работали по пять дней в неделю, с двумя выходными. До Мос-

квы это благо добралось много позже. Правда, как мне показалось, той зимой народ ещё толком не осознал, зачем ему второй выходной. Так, однажды я был в кино. Шёл весьма неглупый двухсерийный фильм. А в зале — пять человек. В субботу вечером.

Погода радовала своей надёжностью. «Мороз и солнце — день чудесный». Два месяца подряд. Жаль, не смог взять с собой лыжи. Зато при минус 25 можно было спокойно выгуливаться. Уж на что я мерзлявый, но по служебной надобности мог провести несколько часов на открытом воздухе. Например, когда наблюдал за транспортными потоками.

Позже командор выпросил у комбината для той же цели автоприцеп-тепушку и дежурных учётиков. Они работали уже по моим заготовкам. Вообще, все комбинатовские, — как бы мы ни мешали им работать, — относились к нам снисходительно. Главное, никто не прятал фигу в кармане. Либо сразу посылали, либо шли навстречу. По праву считаю Ангарск исключительной точкой на карте своих командировок: приятно вспомнить.

А пролетающим надо мной самолётам всегда сочувствую. Вернее, тем, кто внутри. И тихо радуюсь: меня там нет.



## Град неукусибельный

*Остров на море лежит,  
Град на острове стоит...  
Все в том острове богаты,  
Изоб нет, везде палаты...  
Пушки с пристани палят,  
Кораблю пристать велят.*  
А.С. Пушкин. "Сказка о царе Салтане..."

В разгар весны, 15 апреля 1969 года, резко похолодало. Ночью до минус 15. То ли от перегрева, то ли по извечному российскому разгильдяйству, на ТЭЦ рванул котёл. Чудом не разнесло вдребезги трубу. Ту, что нудно маячила на горизонте всю дорогу от станции до города. Дома и заводы съёжились без тепла. Горком мобилизнул всех и вся. Через сутки кое-как, на временках, удалось прогреть больницу и прочие детсады. Позже наладили и остальное.

Тогдашние газеты, как всегда, поместили в нижнем углу последней полосы еле заметное сообщение. О переходе на летнюю форму одежды.

\*\*\*

Июнь 2008-го. По случаю очередного полумарафона усамочаиваю роскошные аллеи. Тревожно радуюсь: живы — вопреки времени и выхлопной напасти. Упираюсь против ветра по Центральному проспекту и пытаюсь вообразить, как тут было, когда ни аллей, ни проспектов ещё не было.

Пушки и барабаны загрохотали задолго до появления города. Сначала не о нём, а о его тёжке, первом спутнике. Уже откатываясь, шумовая волна прошелестела: "Город-спутник". То ли своя, то ли заёмная, но возникла мысль окружить Москву не слишком близкими поселениями. С московскими типовухами, столичной пропиской и непыльной работой за едва ощутимые деньги. Окружать начали с северо-запада. Позже окружение отменили. Запал иссяк на первенце. Зато сам первенец дорос аж до полувековой зрелости.

Как раз полвека назад, летом 1958-го, ездил мимо и насквозь, в спортлагерь МАИ. От Крюкова автобус пыхтел по шоссе, которая вела поперёк Ленинградки на Льялово, с ответвлением к ВНИИФТРИ и дальше, в посёлок УНР (ныне Менделеево). Пока ехал, тщетно пытался углядеть хоть какие-нибудь признаки грядущего спутникограда.

Тем поразительнее был вид этих мест через пять лет. По правую сторону железной дороги возник, строился и жил почти уже нынешний Зеленоград. Работали предприятия с чудными названиями: "Элион", "Ангстрем" и т.п. Правда, доехать сюда на работу можно было пока только служебными автобусами, от Белорусского. Зато, если верить слухам, ездить надо какие-нибудь месяц-два, до вселения в отдельную квартиру. Главное, чтобы приняли. Уже при оформлении заполняешь нужные бумаги и — жди, когда появишься в списке.

Как водится, никакой официальной информации. Город полусекретный. Не только белохалатные цеха, но даже мусороуборочная автобаза — номерные п/я. Никаких "Требуются". Но все вокруг только и говорят про сказочный город для надёжных московских очередников. Тех, у которых в каждой комнате — по родственничку. А ты уже с дипломом, после армии и чёрт-те где женат. В общем, кто хотел, тот устремлялся.

В отделе кадров строительного автопарка новички вдохновенно потели над квартирными бумажками. Только-только поступили и уже — пора! Меня кадровик выслушал безрадостно и кисло вато прожевал: "Без опыта. Нам бы готового, а тебя ещё стажировать. Ладно, сходи к начальникам колонн". Вполне обычный трудоустроительный ход: сперва договориться с начальством. Но я сдуру обиделся и не пошёл. Корабль не пристал.

Судьба подпихнула с другого боку. Три лета лагерей. Здесь же, в двух шагах от Панфиловского, работал вожатым. Но совершенно мимо вопроса, который всех испортил.

Наконец, осенью 1968-го прибил-таки к промтоходной автобазе. Граду уже десять стукнуло. Скорострой вдесятеро умерился: первая очередь кончилась, вторая — на левом берегу железки — не началась. Квартиру маятникообразные москвичи ждут уже вдесятеро дольше, до двух лет. Всё равно вдесятеро быстрее, чем в Москве. Поэтому мучаются, но ездят.

Надо сказать, что затеватели чудограда мучить людей ездомотаньем вовсе не мечтали. Совсем наоборот. Грезилось им, будто работать все будут возле дома. На завод — пешком, по зелёным аллеям. Даже за верхним образованием далеко не ходить: свой электронный институт за углом. Ни тебе вонючих автобусов, ни набитых электричек. Автобусный парк, стало быть, ни к чему. Не нужна и ветка от Крюкова. Разве что грузовая, резервный мазут или уголь на ТЭЦ подвозить. На случай морозов. Я когда юных ленинцев в местных лесах выгуливал, каждый раз на эту одноколейку натыкался. Подозревал даже, что проектировала её как раз та госстройная контора, где я тогда работал. Однако на ржавых рельсах никаких колёсных следов ни разу не видел. Наверное, летом тут ни полярных холодов, ни газовых перебоев. Разве что в разгар весны. Но и то-

гда главное, чтоб горком был, а не ветка какая-то с запасным углём.

В общем, ежели жизнь гораздо шире всех мечтаний оказалась, так на то воля народа. Его даже десятикратным квартирным ожидаловом от электрички не отворишь. К тому же, у него, у народа, вреднющая привычка — на работу во-время ломиться. Всем скопом и к восьми. Семичасовую на Ленинградском каждое утро штурмовали до выпадения окон. В них и вваливались. Мимо дверей, которые ещё не открылись. Кто дверей дожидался, дальше стоя думал. Об автобусе от Крюкова.

Иногда я бегом добирался. Из Северного Измайлова до вокзала и от электрички до места. Километров 13 всего. Но уж очень глупо было мчаться. Потому что приняли меня неведомо зачем. Видимо, упёрся так, что отвязаться не смогли. В техотделе кроме меня уже двое тосковали: учётчик и главный инженер. Тот, который меня и взял. Исключительно из опасения: вдруг начальству что-то такое понадобится, для чего его семи классов никак не хватит. Директор, который моё заявление подписывал, своего главного поддержал. Поскольку сам всего пятью классами обходился. Ну, плюс партбилет, конечно. У главного партбилет тоже был, но и он не помог. Сообразить, что теперь его голове — лишняя болячка: чем меня занять. Но розовомордый жизнелюб напряжением в голове не страдал. Был добр ко всем и ко мне тоже. Несмотря на явный от меня убыток и вред народному автохозяйству.

Во-первых, пришлось меня оформлять левым мотористом. Чтобы жил на рабочую зарплату, а не на инженерное пособие, которого едва на электричку, а рубль на обед — только взаимь. Во-вторых, доброго шефа своего я — по молодой глупости — понимал уж слишком правильно. К примеру, велит он мне про-верить, так ли оформлены ращпредложения. Я и проверяю.

Красным карандашом — по токарным каракулям. Токарь меня, убогого, пожалел. Бить не стал. Хотя я у него натруженный токарными руками рацполтинник изо рта вынул. Только всегда орал мне издалека: "Эй, господин учитель!"

Отыгрался он на мне, когда я на те же грабли попёр и снова шефа правильно понял. Кто-то из соседей втюхивал главному неликвидный шиномонтажный пресс. Сам отбояриваться не захотел, чтобы образованием не сверкать. Меня послал. Глянь, говорит, а то у нас с механизацией не очень. Ну, я и глянул. А чего там глядеть: рама да гидропривод. Тут же, по дурной привычке доводить дело до конца, подмахнул акт и привёз железяку на базу.

Гоголь, с его немой сценой, отдыхает. Шиномонтажник чуть кувалду не выронил. Мне на голову. "Я с этой дурой ...тсья не буду!" Электрик за голову схватился. За свою. "А силовую подводку я вам рожу что ли?!" Токарь ехидно помалкивал и предвкушал. Он, по токарной сообразительности, сразу ущутил некомплект и свою поживу. Господин учитель сам напишет за него рацуху, да ещё в ногах поваляется. Так и вышло. Трудяги довели пресс до ума. Я составил правильные бумаги. Токарь и электрик получили свои рацпремии. От великодушия готовы были отстегнуть мне. Отказался. Не брать же деньги за собственное недоумство. Не помню, перепало ли шиномонтажнику. Для начальства он раз-другой поплясал вокруг громоздилы. Когда начальство ушло, облегчённо вздохнул и вернулся к любимой. Кувалде.

Вскоре после этого отпросился я в люди. Утомился переживать за шефа и отсвечивать перед ним своим образованным носом. Перешёл в автоколонну, подменным. Денег стало меньше, зато от начальства на километр дальше. Душа воцарилась на место. За рулём.

Уходя в отпуск, мой первый подменяемый водил меня вокруг своего обожаемого мусоровоза и показывал, — совсем, как на корове, — за что дёргать. Приговаривал: "Этому и медведь научиться может". На прощанье только что не лобызал любимца в хвост и в гриву. За медведя не скажу, но насобачился я быстро. В тот месяц секретная электроника страны в электронных помоях из-за меня не погрязла.

Позже через мои руки чуть ли не весь советский автопром прошёл, от персональных легковушек и руководящих "козлов" до гоночных самосвалов. Впрочем, это могло происходить совсем не в чудограде, а где угодно. Хотя был и эпизод сугубо местный. По дороге на Москву отловили мой ГАЗик дружинники с полосатыми палками. Мол, нечего порождём гонять, возьми попутный груз. Давайте, говорю. Они в ответ ничего не дали, а только отняли. Путёвку мою. А меня послали. В Марьину Рощу. Хотя клиент мой совсем в другую сторону жаждал. Часа полтора протолклись, чтобы узнать: для нас ничего подходящего. Гоните, говорят, ребята, за своей путёвкой в Купавну. Ещё полдня мы её искали и у ГАИшников вызволяли. Свои дела на другой день пришлось отодвигать и тех дружинников за полсотни вёрст объезжать.

Настоящей местной достопримечательностью была зарплата. Её назначатели вполне резонно рассудили, что на фоне сияющего квартирного горизонта она особого смысла не имеет и вполне может быть исчезающе малой. Выгода была многократной. Во-первых, естественно, от экономии дензнаков. Во-вторых, электричкам скоро обломился любимый властью попутный груз. Получив квартиру, спецы почти сразу переводились работать в Москву. В третьих, отпадали трудности со всякими регистраторшами и курьерами: те же спецы, дабы не лишиться квартиры, символически трудоустраивали домочадцев. Нако-



нец, в четвёртых, многие работали на благо страны буквально за двоих. У нас на базе почти все по совместительству рулили ещё и в Москве.

Пришлось удвоиться и мне. Благо на автокомбинате, где я контейнеровозил года за три до того, меня встретили без лишних вопросов. Вечерами, спрыгнув с электрички на "Рижской", я скакал через тысячу и одну железнодорожную колею к истоку Сокольнического вала. До полуночи катал контейнеры по Москве. Почти сразу навострился загонять автопоезд под погрузку хвостом вперёд. Даже на обледенелых площадках. Ночевал в комнате отдыха для шоферов. Утром — назад, в Зеленоград. За другую баранку. Лишь теперь дошло, почему на воротах висел призыв: "Не спи за рулём!"

Домой — только на выходные. Даже на свидание к некоей даме как-то ввалился в шофёрском зипуне и валенках с галошами: ведь от неё опять на смену. Однажды походя выиграл первенство базы по лыжам. Дистанцию — вдоль Льяловского шоссе — сам торил, уже после старта. Зато вперёд меня никто не рвался. Наградили меня тогда роскошной пластмассовой... пепельницей.

Конечно, долго я так выдержать не мог и через пару месяцев удваиваться перестал. Тем более, что главная подлянка была не в зарплате, а в той самой очереди. Она вроде бы двигалась. Изредка вывешивались списки доживших до. Надеялся дожить и я. Пока, опять же к сентябрю, не выяснилось: в этой трёхзначной очереди за прошедший год я не продвинулся, а отодвинулся. Корабль отнесло от пристани.

В конце концов обошёлся я без зеленоградской или иной халявы. Время пришло, и корабль пристал. Совсем к другому берегу.

## Атомовозный тракт для курносых брюнеток

Проектировщики нашей конторы подкинули научному от-  
делу несколько тысяч рублей из своего миллионного мешка.  
В отделе их сильно не хватало для плана, а богатенькие бурати-  
ны задёшево спихивали с себя заведомо бросовую обязательку.  
Отрабатывать подачку на научную бедность выпало мне. За то,  
что не нашёл для себя и коллег чего-нибудь менее противоесте-  
ственного.

Вся страна строила очередную АЭС. Татарскую. Где, за-  
чем, почему, сейчас только тамошние не в меру любознательные  
школьники докапываются. В моём задании ничего научного  
и даже секретного не было. Всё было ясно по смыслу и опыту.  
Но смысл полагалось подтверждать расчётом. По варианту, ко-  
торый против смысла. Потому что тогда поветрие было. За обя-  
зательную альтернативу. Ну, как на выборах. Не тогдашних.

Строители уже всюю впереди паровоза бежали. Стройка  
шла своим чередом, а проект согласовывали долго и вдогон.  
К будущей АЭС вроде бы уже рубили стовёрстную просеку от  
ближайшей железной дороги. По рельсам повезут бетонные  
громоздиль-контейнеры с атомным горючим, а обратно — их  
же, но уже с отходами.

Железнодорожную ветку проектировщики уже просчита-  
ли и выдали мне табличную простыню с этим расчётом. Мне ос-  
тавался пустячок: добавить в ту же простыню опровергательную  
цифр по заведомо абсурдной альтернативе. Таковой назначи-

ли перевозку бетонных монстров на трейлерах. Их, к слову, в природе не было. Впрочем, автодороги для них — тоже. Был наскоро замощённый просёлок. В воображении расчётчика он достраивался до нужной проезжаемости.

Мне ли горевать. Уж сколько раз перед тем высчитывал я виртуальный экономический эффект от неделанной работы. Но тут была загвоздка. За исходными данными надо было ехать к тем проектировщикам, которые пекли рабочие чертежи для строителей прямо на месте. В посёлке Камские Поляны. Мало того. Чтобы местные выпекатели чем-то со мной поделились, нужно было высочайшее разрешение от Верховного энергостроителя. Значит, сначала к нему в штаб. В город Брежнев.

Был такой город, хотя и недолго. До того и теперь — Набережные Челны. В некоей поэтической пьеске — Автоград. А в народе — просто Челны. От местной столицы всего-то километров двести. По прямой. Сейчас даже автодорога есть. Была ли тогда, не помню. Зато на поезде даже теперь — только кругом. После Ульяновска и Бугульмы — хвостом вперёд. К концу пути, после двух тарахтельных ночей, вовсе перестал соображать, в какую сторону едем.

Вокзала в Брежневе не было. Нас высадили в пять утра у какого-то сарая на дальних подступах к городу. Из-под серого сумрака вылез автобус. За лобовым стеклом красовался портрет Сталина в мундире генералиссимуса. Над портретом крупно значилось: «Брежнев». По счастью, водила разбирался в местных дорогах не хуже, чем в вождях. Автобус вынырнул на широченную автостраду и понёсся сквозь сумрачную пустоту. Пейзажа за окном не было. Вообще.

Выскочило солнце. Город ошарашил миражом в пустыне. На поляне паслись... московские трамваи. Трёхвагонные «Татры» нехотя расплзались с оборотного кольца. Автобус катил

уже явно по Москве. Я вроде бы даже узнал шоссе Энтузиастов. Правда, здесь оно называлось проспектом Мусы Джалиля.

В семь утра штаб Верховного энергостроителя будто только меня и ждал. На мой пароль “Из Москвы” секретарша без звука впустила меня к Самому. Тот мгновенно вник, а потом блеснул Золотой Звездой и генитальной лексикой. Невоспроизводимо обозвал тех, кто меня прислал. Но тут же снизошёл до моей вынужденности. Не только черкнул закорючку на сопроводилровке, к которой я прилагался, но и велел кому-то из замов попутно подбросить меня на АЭС.

Регулярный транспорт в Камские Поляны вроде бы тоже был. А может, его и не было. За ненадобностью. Строители жили на месте, в посёлке, который сами уже возвели. А начальство у нас вообще не ездит: его возят. Короче, не прошло и часа, а я уже тряся в замовом “козле”. В обратную сторону, по знаковой автостраде. Нефтекамск, с его шинным заводом, тоже был похож на Москву. Вернее, на какую-то московскую зону. Жить здесь не хотелось.

Дальше дорога была поуже и покривее. Живенько представил, как бы на этих извивах, подъёмах, спусках и мосточках корячился водитель атомного контейнеровоза. Особенно зимой. Впрочем, тут же утешился: это же только видение.

АЭС предстала вдалеке тоже неким туманно-бетонным видением. Меня высадили раньше, возле пятиэтажных типовух. В проектно полуподвале верховная закорючка никого не впечатлила. Пришлось в подробностях поведать свою несусветную нужду. Диалог заикнулся: «У нас этого нет. — А вы мне всё-таки дайте!» Меня послали. В архив, который тут же. Среди пыли и сушёных тараканов ловить было нечего. Для очистки совести часа три перебирал пухлые папки и старательно перекладывал жухлые бумаги. Кое-что даже отмечал в командировоч-

ном блокноте. Не зря же припёрся в такую даль. Хотя ясно было: интуиции в расчёте будет явно больше, чем информации.

На залитой грязью дороге меня подобрал сердобольный самосвал. С тем же местным талисманом в виде генералиссимуса. Гоночный КамАЗ резво скакал по колдобинам. Я досконально проверил потолок кабины на пробиваемость. В начале пути ещё ухитрялся машинально высчитывать, во сколько обойдётся выровнять вон тот подъём, спрямить вон тот поворот, заменить вон тот мост, раздать вон тот участок вширь, — в общем, химера не отпускала до самого Нефтекамска. Дальше самосвалы не ходили.

Уже затемно автобус — с таким же портретом — высадил меня на проспекте. Где-то неподалёку нашёл энергостройное общежитие. Спасибо штабной секретарше: утром она не просто отпустила командировку, но и встретила туда загадочный штампик. Он-то и пригодился: меня поселили по-царски, в роскошной квартирке на четверых, причём пока одного. Наконец-то смыл трёхсуточные дорожные наслоения.

Подлый организм счастливым быть не хотел: запросил есть. Будто не мог потерпеть ещё сутки-другие. Обратный поезд ведь уже завтра вечером. Так нет же, пришлось вернуться на проспект. По-московски сиятельный «Гастроном» потряс изобилием московских харчей. Но до полной столичности в интерьере чего-то явно не хватало. В магазине не было не только очередей, но и вообще покупателей!

Продавщица — по обязанности и явно не мне первому — раскрыла страшную тайну: чуть ли не полумиллионный Автоград питался по продуктовым карточкам. Здесь их называли талонами, а выдавали в завкомах и домоуправлениях. Владелец бумажки с печатью мог целый месяц скормить себе и домашним кусок мяса, пачку масла и т.п.

У заезжего инженера знакомых завкомов-управдомов не было. Зато был командировочный набор: кипятильник и прочий чай-сахар. Буханку мне продали без талона. Организм утешился, побурчал и затих. Под утро снились атомные трамваи.

На другой день катался на тех, что есть, — глазел на город. Потом, как водится, в кино. Челентано говорил по-русски, зато пел и скакал по-итальянски. Не без труда, но я его пересидел, с середины не ушёл. И стократно вознаграждался за терпёж. После сеанса публика растеклась по прилегающему скверу. Грязно чудо. Кто видел горные тюльпаны на зелёном апрельском склоне, тот поймёт. Остальные пусть вообразят.

Куда ни глянь, — курносые, темноволосые девчонки. Их десятки, если не сотни. Безудержно юные, ослепительно чистые лица. Первозданная красота природы. Если и стоило сюда приезжать, то только ради неё. В таком обличье и в таком множестве я видел её только здесь. И никогда в Москве, где любая зави в метро — ударное напоминание: косметику придумали дикари. Для устрашения противника в бою.

\*\*\*

Через три года после Чернобыля строить Татарскую АЭС передумали. Когда-то считалось, что она обеспечит 90 % местных энергопотребностей. Более четверти века регион обходится без этих девяти десятых. Порой ещё слышны неуверенные заикания о возобновлении строительства. Какое там возобновление: проект устарел, бетон повыветрился, имущество распылилось, посёлок обезлюдел, типовухи своё отжили.

Зато Нью-Москва на Каме вполне жива. Правда, в 1993-м сгорел моторный завод. Вероятнее всего, по тогдашнему всеобщему разгильдяйству. Завод в том же году восстановили. Говорят, КамАЗ тачает уже не первый миллион самосвалов. О судьбе курносых брюнеток лично мне ничего не известно.

*В зубах  
у дарёного коня*





## Диссертабельная шея

Телевизор с упоением вещал о чудодеях из отделения спортивной травмы ЦИТО. Увы, приходилось там бывать. Не сказать, чтобы помогли, но утешили. В 1973-м пообещали, что разрыв коленных связок зарастёт сам. И правда, через год зарос. В 1997-м предупредили: не перестанешь марафонить, — сляжешь. Через семь лет пророчество окончательно сбылось. В общем, там люди прозорливые и предсказывают судьбу точнее Ванги.

На днях моя бывшая соседка по Тёплому Стану случайно упомянула знакомую фамилию. Оказывается, доктор Черногузова, как и тридцать лет назад, работает участковым терапевтом. Но это как раз тот случай, когда опыт не очень-то на пользу пациентам. Соседку, к примеру, она лечит заговором: "Чего Вы хотите, это ж возраст". Да и мне она когда-то прописывала водочные компрессы. Хорошо хоть, больничный продлевала. И на том спасибо.

Началась эта история в конце ноября 1977 г. Возвращаюсь в Москву поездом из Керчи. Там я пытался впарить свои научные услуги Камыш-Бурунскому горно-обогатительному комбинату. Директор готов был потратиться на науку. Но попросил зайти в бухгалтерию и найти в себестоимости добытой руды ту статью, которую я своей работой смогу уменьшить. За счёт этой экономии и профинансируется моя предстоящая

деятельность. В бухгалтерию я не пошёл. Потому что удешевить руду никак не мог. Мог только предупредить неверные проектные решения по карьерным дорогам. А их тут никто и не проектировал. Просто рыли яму вширь и вглубь. Самосвалы выползали из неё настолько медленно, что водитель иногда на ходу читал журнал, положив его перед собой на руль. В общем, вояж мой кончился ничем.

Предстояли сутки в купе — та ещё пытка. Соседями, духотой, прокрустовым дубовым лежаком, чаем из солёной керченской воды — да мало ли прелестей в наших вагонах. Пришлось принять снотворное. Керченского разлива. От него поутру голова трещит громче, чем тарахтят колёса. Поэтому запасся кефиром и упросил проводника сохранить бутылку до утра где-нибудь в прохладе. Ну, тот и сунул её в подвагонный ящик. На рассвете залил я пожар в горле ледяным кефирчиком.

Уже на следующий день температура подскочила, а шея раздулась. Вот тут и замаячила у нас в квартире белохалатная мадам Черногузова. Ближе к новому году маячить устала и от безнадеги сдала меня в больничку. Больничка весёлая, у Черёмушкинского рынка. Палата роскошная, всего на шестерых, с оптимистичным видом на морг. По коридорам бродят "пьяные травмы". Среди них запомнился негр, у которого все пальцы рук были обмотаны бинтами. Его, пьяного, голого и обмороженного, вынули из мусорного ящика на задворках студенческой общаги и привезли спасать сюда.

Угодил я в разгар предпраздничной зачистки. Против потока. Всех на выписку, пора праздновать, а этот явился. Чтоб меня нейтрализовать, кололи антибиотики по шесть раз в сутки. Организм от этого разогревался, как ядерный реактор. Градусник пугающе завис на отметке 40. С моей стороны это было свинством. Персонал уже гудел после честно отработанного ста-

рого года. На этажах — галдёж и весёлые междусобойчики. Белые халаты братались с пьющими и поющими пациентами. В женском отделении плясали даже лежащие. Лёжа, конечно.

Пришлось мне опереться затылком в кнопку общей тревоги. Дальше — сплошной сериал "Скорая помощь". Каталка, коридоры, операционная. Окно настезь. Лежу, дрожу на столе, обитом кровельной жестью. Надо мной — необъятная дежурная хирургесса. На шею кладут брезентовую салфетку. Из разговоров понимаю, что взбухшую шею будут протыкать. На предмет опорожнить вздутие. Эскулапша тоже подрагивает. То ли от холода, то ли от страха. Предстоящая операция знакома ей явно только по давно забытым лекциям. Ей подадут гвоздь толщиной в полпальца и говорят, что это и есть нужная игла. Тоньше не нашлось. Я лежу, колышусь. Врачиха стоит, колышется. Так зазря и проколыхались.

К счастью, гвоздь сквозь салфетку просто не пошел. Не хватило у мадам ни сил, ни решимости. Хватило только наглости вписать в историю болезни якобы проделанную операцию (я потом читал). Хотя, что ей ещё оставалось. Я успел уговорить её, чтобы отменила уколы: хоть выплюсь нормально, без вздрючки среди ночи.

Хорошо, что до всероссийских рождественско-новогодних каникул было целых 28 лет. Поэтому уже через каких-нибудь три дня всё устаканилось. Явился сменный врач. Велел не жалеть вату и мазь Вишневского. Всего-то! Через сутки шея перестала расти в ширину, а градусник уже не пугал красной меткой. Дело явно шло на поправку.

На всякий случай меня оставили поваляться ещё на неделю. Редкая возможность спокойно заняться, наконец, диссертацией. Попросил жену принести мои статьи, бумагу, клей и ножницы. Нехитрыми подручными средствами довольно быстро со-

орудил черновик. Материала хватило с избытком. Добавить пришлось разве что союзы: *а, и, но, однако* и т.п. Короче, в октябре уже защищался.

Говорить о врачах плохо так же нелепо, как ругать евреев, москалей, кавказцев, хохлов и т.д. Медики, как и любые другие спецы, — это полный спектр профессионализма, от нулевого до высшего. Покопавшись в памяти, любой из нас найдёт тому свои примеры. Конечно, обидно, что лечение — лотерея. Утешает одно: к возрасту активного лечения мы об этом уже знаем и не строим иллюзий. Хуже бывало в детстве, когда врачам доверяли безоглядно.

Память несправедлива. Фамилию толкового парня, который в секунду определил диагноз и панацеею в январе 1978-го, я не знал и забыл. А мадам Зуеву помню. Это она в 1949-м целый год прописывала мне свинцовые примочки от якобы ушиба. Ушиб на поверку оказался костным туберкулёзом. Исправлять *ушибку* этой Геростратихи от медицины пришлось как минимум троим истинным врачевателям. Прежде всего, хирургу Русаковской больницы, профессору Колпакову. Но даже его окружали не только профессионалы. Начать с того, что он ожидал совсем другого пациента. Меня привезли по ошибке, перепутав очерёдность. Но он решил не мучить меня из-за фальстарта и приступил к делу. Хотя наркоз приготовили совсем не тот. Всё кончилось удачно. Благодаря Мастеру.

Но разве Мастеров на всех и на все времена напасёшься? В общем, не стреляйте в пианиста: он играет, как умеет.

## Глаз на анализ

*Ни одну мочу в закрытой банке делать не буду!*  
Крик души.

Ещё с войны помню *дезинфекцию*. Карболку от микробов. *Дезинсекцию* делал сам. Это от клопов. Много позже, в сытые времена, — от тараканов. *Дератизацию* тоже довелось. В панельной новостройке. Помню, как вздрагивал от мышеловки на кухне. Однажды поймал на лестнице крысу. Пытался топить в ведре. Она резво кружила по воде и радостно фыркала.

Теперь вот *диспансеризация*. Это уже не от крыс, а от нас самих. Попал я под неё через даму-офтальмолога. К ней я хожу, хотя к врачам стараюсь не соваться. Бесполезно. Но от глазной докторицы большая польза. Рублей на десять. Четырежды в год. Она мне дешёвые капли прописывает за полцены. Это мне награда такая от страны. Льгота называется. За когдатошнюю от меня пользу. Дорогие капли я покупаю за полную цену. Но докторица в этом не виновата. Как и в том, что дорогих мне нужно вдвое больше, чем дешёвых. Потому что на самом деле мне давно уже не капли нужны, а операция. От которой можно ослепнуть если не сразу, то позже, чем от капель.

Обязали докторицу всех *хроников диспансеризацией охватить*. Вот я в охват и угодил. Жизнь была отравлена. На все три месяца. До следующего визита. Предстояли анализы. Дура-

ку ясно, что от них ни здоровья, ни тем более, зрения не прибавляется. Зато ежели не сдашь, — останешься без заслуженной полухалявы.

Как ни откладывал, пришлось. Ночью толком не заснул. Во-первых, *с восьми до девяти*. Во-вторых, поутру не забыть *в баночку*. В чередке диспансеризанцев оказался двадцатым. За мной набежало ещё не меньше тридцати. Ставлю *тару* куда надо. Потом покорно держу спиной стену. Через полчаса вздрагиваю. Дама в белом, та, что передо мной, исчезла. Искали всей очередью. Наконец выяснилось, что даму в белом угораздило в гардероб. После которого она уже не белая, а дебая. В чёрном, стало быть.

На двери табличка: *Забор крови*. Вспомнил, как один немец жаловался. Почему, дескать, у русских все слова одинаковые. Храм — *сапор*. Кругом обходить — длинный *сапор*. Когда обойдёшь, то ворота закрыты: опять же на *сапор*. В животе — тоже *сапор*. Попал бы в поликлинику, мог бы добавить: кровь сдать — и тут *сапор*!

Лаборантка оказалась... вчерашним школяром. Мальчик что-то спросил. На моё *А?* повторил гораздо громче. Я сдуру чуть не ляпнул: “Чё орёшь, я не глухой!” Во-время осёкся. И вот *забор* позади. Свободен! До следующей *серизации*.

## Купи патрон у автомата!

Передо мной из глазного кабинета выгнали тётку. За то, что без сменной обуви. Дождаться, чтоб выгнали ещё и меня, не стал.

Спрыгнул на первый этаж. Там — всеобщая развлекуха. Посадили охранника, чтоб не пуцал без. (Меня он при входе прозевал, что ли? А может, я раньше него пришёл?) Гардеробщице навесили размен, а на стенку — автомат с патронами. Вокруг все пляшут и поют. Охранник активно не пуцает. Гардеробщица меняет червонцы на пятаки. Мне — со сдачей. Посетители воюют с автоматом и друг с другом. Автомат глотает пятаки и выдаёт патроны. Через раз. Я опатронился сходу. Помогла некая доброволица. Она, видать, уже насобачилась. Во всех смыслах.

Возвращаюсь и радуюсь. У кабинета — уже никого. Я первый, стало быть. Распатрониваю патрон, изымаю из него одноразовые галоши. Одну совсем уж было напялил. Тут из кабинета выходит некто, и оказывается...

Пока я шастал за патроном, дама-офтальмулх успела захворать. Видимо, от огорчения за ту самую, неправильно обутую тётку. Оставшаяся медсестра присоветовала зайти ближе к вечеру. И утешила: “Бахилы действительны!”

## Коленчатый гВАЛт

*Пень стоял у самой дороги, и прохожие часто спотыкались об него. “Не все сразу, не все сразу”, — недовольно скрипел Пень. “Приму сколько успею: не могу же я разорваться на части! Ну и народ — шагу без меня ступить не могут!”*

Ф. Кривин. "Мелочи жизни"

Приспичило мне в допр. Кто слишком памятливым и не слишком молодой, пусть не вздрагивает. Допр — это не дом предварительного заключения, как когда-то, и, стало быть, даже не СИЗО. Дом прозрения — вожденное и пугающее мечтание. Не для всех, конечно. Только для тех, чьим глазам уже никак иначе не помочь, разве что резьбой по яблокам. Глазным.

Считается, что резчикам куда сподручнее иметь дело с организмом, преисполненным не трепетного ожидания, а неуёмной радости. Даже восторга. Оттого, что вот оно, вершится. Наконец-то. Кто на самолётах летать боится, это легко поймёт. Отмаётся трое-четыре суток в ожидании отложенного рейса, и — ничего вожденнее предстоящего полёта во всей оставшейся земной жизни уже никогда не будет.

Преисполнение организма радостью начинается с первой попытки сунуться к исцелителю. Целительная дама исчезнет болеть. Чтобы обрадовать вас своим возвращением. Через месяц. Соскучившись по вам, предложит недельку погодить. А то вдруг само рассосётся. Неловко будет перед допром.



Не рассосётся. Даже наоборот. Туманная занавесочка в глазу ещё дальше задвинется. Вздохнёт районная докторица и выдаст-таки цидулю в допр. Как от себя оторвёт.

Допровская регистратура от изумления видеть лично вас захлопнется на обед. После обеда восторженно объявит вас безотлагательным. Чтоб срочно. Через полтора месяца. За бегунком. Это бумажка, в которой ещё дюжина бумажек обозначена. Очень нужных. Из тех нужных мест, где белые халаты водятся.

Рванёт организм на радостях по белохалатным нужным местам, а тут и всеобщая радость. Новый год. Народ ото всего отдыхает, лишь от себя устаёт. Только народ отдыхать закончит, лечиться побежит. Не на работу же идти, когда вокруг — повальный чих. Бегунок обежишь, полсотни кабинетов обсудишь, а сам под этот чих и угодишь. На пару недель.

То-то будет счастье, когда всё это вдруг кончится. А от глаз всё ещё что-то спасти останется. Такого счастья одному не пережить. Поэтому в допр на единые день и час каждое утро разом сотню счастливицков скликают. Как на праздник.

Многие родню с собой привели. Чтоб на радостях с дороги не сбиться. Мне одна пара запомнилась. Старик и мальчик. Они оба сдаваться пришли. Старику 87. Его в сорок четвёртом из войны осколками выбило. Какие удалось, сразу вынули. После госпиталя упросил врачей инвалидность не назначать. С нею ни работать, ни учиться нигде не брали. С остальными осколками до сих пор живёт. Мальчик при нём аж на десять лет моложе. Пока преисполнялся радостью, почти ослеп. Пространство осязает по счёту шагов. Поэтому старик при нём поводырём, а не наоборот.

Собрались мы в приёмной зале. Огромной такой. Целых два шага в ширину. Зато четыре колена в длину. Сидячие места гуманитарными лавочками обозначены. Кто поспел, тот и сел.

Остальные ещё лучше устроились. Всякие пальто и прочие галоши на плитусах угнездили. Чтоб на пол не свешивались.

Сразу и перезнакомились. Ведь каждому из хвоста к голове хочется. Хотя бы глянуть. На заветную дверь, куда в *верхней одежде без ксерокопии не входит*. Жаль, всё хорошее быстро кончается. Всего три часа пообщались, а уже мой черёд. Вхожу. Сидит приёмщица. Вся в наморднике. От нашей заразы. Загадывает загадку:

— Какое давление?

— А какое давление, в глазу или вообще?

— Вообще.

— Вообще, нормальное, зато после вашей очереди...

Видимо, я её загадку неправильно разгадал. За это меня в другой кабинет не по очереди позвали, а почти после всех. Тут ба-альшущую бумажку выдали. С моей фамилией. Фамилию на компьютере печатали. С ноги.

Праздник на этом не кончился. Потому что на гардеробе приглашение висело: *Открыто только теперь и послезавтра. На два часа*. Гардеробщица сперва за плечо мне глянула. Вдруг там кто есть. Пусть бы мои вещички домой увёз, а потом привёз. Очень удобно. Не повезло ей. Журчала она долго. Ведь я её от обеда и — об вешалки. Кому ж понравится.

После оказалось, что можно было совсем без гардероба. Распихать под койкой или где. Ещё оказалось, что можно с гардеробом, но без гардеробщицы. Когда она приболела, ключ у лифтёрши был. Та мне страшную тайну и выдала: “Приходи, когда вздумается. Мы тут круглосуточно. Только имей в виду: скоро больная болеть перестанет, и всё по-прежнему будет”.

Это замечательно. Иначе приёмщица и компьютерная девочка тоже свои ключи лифтёрше отдадут. Народ совсем без праздника останется.

## Полный обезбол!

*Дежавю (уже виденное) — психологическое состояние, при котором человек ощущает, что он когда-то уже был в подобной ситуации. Дежавю обычно сопровождается ощущением странности и нереальности происходящего. Некоторые, к тому же, «чувствуют до мелочей», что произойдет в ближайшие несколько минут.*

Википедия.

Всё это я проходил. Последний раз несколько лет назад. В другом милосердном доме, но почти так же. Как и тогда, переделся во всё незаразное. Кроме тапочек. Потом привели туда, где тапочки отбрасывают. Бахилы чуть ниже горла завязал и — вперёд. Дальше добрый мОлодец возникнет. Чуть слышно кольнёт под глаз. Потом в это, уже бесчувственное, место — контрольный поцелуй из главного калибра. Глаз не только моргать, а даже косить перестанет. С ним теперь что хошь делать можно. Осязнёт, конечно. Зато не больно. Почти.

Ой, кто это? Явись тут Баба Яга с отбойным молотком, я бы меньше ошалел. Вместо добра молодца — квадратная Обезболиха на курьих ножках. Подскакивает, прижимает меня ухом к стене и в левую скулу — сразу главным калибром! При этом вроде даже подпрыгнула и зависла. Иначе ей просто не достать. Хоть я перед ней сидя, а она наоборот.

Между прочим, главный калибр чуть меньше того, которым автослесари пресс-маслёнки шприцуют. Кто “Кавказскую пленницу” не видел, пусть посмотрит. С перепугу на мне бахилы сдулись, глаз в обморок упал, а я к нашатырю воззвал. Вокруг меня суэта образовалась. На каталку сажают, нашатырём махать велят, в руку синячище вкальвают. Всё без толку. Наконец, кто-то сообразил спинку каталки отстегнуть. Она как грохнет. И я об неё. Затылком. Сразу очухался.

Тут опять все вспомнили, кто здесь главный. Потому что не кого попало, а меня спрашивают, туда везти или назад. Будто не ведают, как долго я радостью ожидания преисполнялся. Командую, что туда, конечно. Перед дверьми мне что-то крикнули. Но крикнули быстрее, чем сообразить можно. Я-то, по старой памяти, ждал, что двери раздвинутся. А они как бабахнут створками. По каталке. Ну, и по локтям.

От этого ко мне слух вернулся. В дверях мне три одинаковых вопроса задали. Все расслышал и на все ответил. Трижды свою фамилию назвал. Это уже для профессора, который у стола. Ему в микроскоп только глаз видно и никакой фамилии. А что именно резать, только по фамилии определить можно.

Дальше всё знакомым порядком шло. Из прошлого только льняная тряпица с дыркой отсутствовала. Вместо неё мою личность клеёнкой прикрыли. Зато тоже с дыркой. Для того самого глаза. Когда всё кончилось, клеёнку едва оторвали. Вместе с бровями. Так я к ней приник. Но больше всего понравилось, как через неё по лбу стучали. Чтоб смотрел, куда велят. Поскольку право-лево в таком виде долго переваривать.

Вернули меня к отброшенным тапочкам, а потом велели три часа лёжа в потолок глядеть. Закрытыми глазами. От возбуждения отходить. В этом деле мне сосед здорово пригодился. Он пятью минутами раньше отстрелялся. Когда меня прикати-

ли, он уже всюду вещал. В потолок. Который тут выше пяти метров. То, что от потолка отлетало, до меня доносилось. Так что Василий Иванович, сосед то есть, хоть и понял про мою глухоту, но голос особо не надрывал.

Я про него много чего узнал, хотя тут же забывал. От возбуждения. Зато от его слов оно постепенно уходило. И я запомнил даже, что его второй раз под те самые инструменты угораздило, которые он, станочный мастер, своими руками вытачивал-выглаживал. Микроны на глаз ловил и два калибровочных ногтя на правой руке не стриг. Первая удача его настигла, когда для челюстных хирургов постарался, а затем сам к ним угодил. Второй раз теперь. Поскольку глаз ему ковыряли его собственными тончайшими поделками.

Может, от этого у него всё легко обошлось. Когда мы прощались, я так и подумал: “До чего же лёгкий человек!” Хотя весил он 130 кило и говорил, что на 25 перед тем похудел. Поэтому койку себе выбрал не с сеткой, а с решёткой из стальных полос. Три матраца на неё оприходовал. Два штатных и ещё чей-то.

У меня, например, только один был. Толщиной в газетный лист. Но если его раз пять перекувыкнуть, то он вроде бы толстел. Какое-то нутро в нём пушистей делалось. Ещё колени мне мешали. Сквозь сетку в пол упирались. Пришлось у медсестры её главный инвентарь выцыганить. Скрепки по имени *гигант*. Их медсёстрам специально выдают, чтобы кроватные сетки заделывать.

Дальше приятные будни потекли. На мне всякие ординаторы глаз разглядывать учились. Я с ними вместе тоже офтальмоскоп отличать насобачился. От сканера и даже от тепловизора. Ещё я активно худел. Сообразно расписанию еды и её количеству.

В общем, хорошо было. А все несчастья со мной — исключительно по причине понедельника. Вот и теперь именно в понедельник оказалось, что я ассистентке-ординатору очень понравился. Когда рядом лежал. На столе. Особенно лицо понравилось. Она в моём лице надёжную опору чувствовала. Через клеёнку. Вот ей и захотелось. Ещё раз опереться.

Хотя сама она объясняла, будто глаз мой, который вместо меня в обморок падал, на столе что-то неправильно понял и в себе замкнулся. Чтоб разомкнуть, мне повторяться придётся. На столе. И с Обезболихой. У той от меня даже глаза из-под намордника вылезли. Но без прочей суеты на сей раз обошлось.

Со мной-то обошлось. А вот молодую-красивую предо мной отхаживали. Ну, мыслимое ли дело, при её стройности и под главный калибр! Но ей так хотелось косоглазие избыть. Медицинские тётки вокруг неё только кудахтали: “Ой, а куда же тут колоть? Тут же ничего нету!” В общем, я мимо неё вроде как без очереди. Даже без фамилии.

Может, ассистентка про мой глаз правду говорила. Только мне сдаётся, она это всё же придумала. От стеснительности. Не признаваться же ей было. По причине той же стеснительности она меня после повтора на другой же день домой отправила. От греха. Правда, свидание через неделю назначила. В ординаторской. Нитки из швов выдёргивала. На прощанье — опять же от греха — умоляла не возвращаться как можно дольше.

*За былью — былъ*





## Два рубля на босу ногу

Зима 1964-го. По ночам развожу по Москве МПС'овские контейнеры. С очередной загрузкой кочегарю ЗиЛ-164 сквозь лёгкую пургу куда-то на Люблино. Остаповское шоссе ещё не стало Волгоградским проспектом. За Крестьянской заставой по правой стороне кособочатся двухэтажные полудеревянные дома. Время за полночь. На дороге только последние троллейбусы да редкие такси.

Вдалеке вижу, как из одной недоснесённой халупы кто-то выбегает к мостовой и отчаянно семафорит. Торможу и толкаю правую дверь. В кабину вскарабкивается девчонка в домашнем халате без рукавов и в шлёпанцах. Ничего не объясняет. Только кричит: "Скорее, вон за тем троллейбусом!" Легко сказать. У меня без малого пять тонн в кузове. И перегоны тут длинные. До Текстильщиков троллейбус гонит почти без остановок.

Ладно. Достаю из-за сиденья телогрейку, велю пассажирке надеть в рукава. В кабине совсем не жарко. Печка-то у меня самодельная. Гибрид бывшей фары с бывшим противоголозом. Старый рефлектор и гофрированная труба — вот и весь народный отопитель.

Меж тем потихоньку нагоняем тот самый троллейбус. Юная особа чуть согрелась и поведала. В троллейбусе — "этот мерзавец". В смысле, её молодой муж. Увёл из семейной кассы последние два рубля и сбежал. Для справки, что такое 2 р. тогда. Кило мяса. Или хлеба на неделю. Или 20 раз съездить на

метро туда и обратно. Или 2 кило сахара. Или 6,5 литра молока (если бутылки сдать на обмен). Или 8 бутылок пива (с тем же условием). И т.д. А дома в кроватке — крошечный ребёнок. Бросила спящего и выбежала в ночь. За воругой-папочкой. *Ну, пожалуйста, скорее, ведь удержит!*

Светофор в Текстильщиках — в нашу пользу. За оставшейся торможу впереди троллейбуса. Горемыка, не снимая зачуханной телогрейки, выпрыгивает из кабины и тут же заскакивает в троллейбус. Он меня почти сразу обгоняет. На его заднем стекле — театр двух теней. Итальянская жестикуляция с беззвучной пощёчиной в финале. Перед поворотом на улицу Юных Ленинцев (она и теперь так зовётся?! ) снова подбираю свою пассажирку. Стервец денег не отдал.

Хочу доехать до места и выгрузиться, а на обратном пути доставить даму домой. Но она рыдает: скорей назад, младенец может проснуться. Чтобы не объясняться на базе за лишние километры, лезу под машину и быстренько скручиваю гайку спидометра на коробке. Специально для этого пломба подвешена на о-очень длинной проволоке.

Разворачиваюсь, приезжаем. По кривым ступенькам лезем на второй этаж. Дитё беззаботно скачет в кроватке и радуется маме. Откуда-то возникает соседка. Меня сразу не отпускают. Под жиденский якобы чай выслушиваю типовую *lovestory* и ругню в адрес беглянта. На прощанье отдаю свой обеденный рупь, забираю телогрейку и бегом к машине, кочегарить в Люблино.

Прошло сорок лет и четыре года. До сих пор чувствую себя должником. Потому что не было у меня тогда с собой второго рубля.

## Дырка от железного занавеса

Когда некий вельможа похвастал царю Петру, что может говорить по-иноземному, тот сразил его вопросом: "С кем?" В СССР любой иностранный язык тоже намеренно преподавали так, чтобы на нём невозможно было общаться. А зачем? — Всё равно же не с кем. Были, разумеется, места, где учили иначе. Например, в ин'язе мне повезло на талантливого педагога. Поэтому мы уже после первого семестра избавились от переводческой немоты, а на выпуске весьма бойко лопотали по-немецки.

Не хотелось, однако, оказаться в положении петровского вельможи. Выехать за границу было немислимо. Как-то меня пытались сосватать инженером-переводчиком в ГДР, на конгресс транспортников. Даже прислали на дачу, где я проводил отпуск, гонца с бланками анкет. Я парился с ними двое суток, а затем, уже в Москве, несколько раз переписывал. Потом тягали в райком, где партийные подневольцы нехотя пытали меня за творческие успехи в личной жизни и осуждали мои трудоустройительные зигзаги. Вроде обошлось. Но кончилось ничем. Где-то наверху мою моральную усидчивость сочли недоизбыточной. Меж тем поезд ушёл: без переводчика на конгресс от Госстроя вообще никто не поехал.

Но — ищущий да обрящет. Осенью 1967-го по объявлению в газете я нашёл курсы гидов-переводчиков при "Интуристе". Готовили нас уже весной, к предстоящему летнему сезону. Учили основательно. До сих пор храню не только справку об окончании курсов, но и рукописные немецкие тексты экскурсий

по Москве, Кремлю, его музеям, по Третьяковке и т.д. Для предстоящей работы нас тренировали на натуре. По городу возили в автобусе, причём каждый должен был по команде преподавателя "включаться" на ходу и продолжать рассказ за предыдущим обученцем. В музеях мы заучивали не только текст, но и расположение экспонатов, последовательность переходов и т.д. Нас научили принимать тургруппы, заранее расписывать каждый день их пребывания и заботиться о насущном (еда, размещение, досуг, билеты и т.п.).

Наши шефы предусмотрели всё, даже подсказки на случай т.н. провокационных вопросов. Для примера — одна из них, в моём обратном переводе с немецкого.

*Действительно ли при социализме должна быть только одна партия? — Отнюдь. Однопартийная система — не принцип, а проявление исторических особенностей. До 1917 г. существовало несколько партий (эсэры, кадеты и т.д.), но большинство народа поддержало только коммунистическую партию. Остальные самораспустились...*

Были и прочие благоглупости, с упором на юбилейные достижения (в 1967 г. отмечалось 50-летие) страны и на преимущества её правопорядка. Я честно принимал всё на веру: тогда вам не сейчас. И однажды самонадеянно ввязался в спор со швейцарскими студентами по поводу этих самых преимуществ. По их словам выходило, что у них в стране бесплатное образование, здравоохранение и прочие блага не только не хуже наших, но доступнее и явно выше качеством. Сколько я ни кипятился, убедить их в превосходстве нашего бытия не смог. И не мог: теперь мы это знаем. А тогда некий реванш мне всё же перепал.

Жарким августовским днём моя тургруппа кучковалась возле бочки с квасом на ВДНХ. В ожидании своей очереди один из немцев упрекнул меня в необъективности. Дескать я

распинаюсь о нашей прекрасной жизни, тогда как вождей возят на лимузинах, а переводчики живут на сто рублей в месяц и ходят пешком. И в этот момент мимо проезжает открытая "Чайка" (самый ходовой "членовоз" 60-х годов), а рядом с водителем сидит и делает нам ручкой экскурсовод, за которым я только что переводил для своей группы в каком-то выставочном павильоне. Я гордо глянул на оппонента: знай наших! Разумеется, я не стал для него уточнять, что коллега просто хорошо знаком с шофёром "Интуриста" и прокатился по-приятельски, с оказией. Ну, а готовый коммунизм я всё-таки увижу, правда, через много лет и не в своей стране.

В СССР был строгий порядок: контактировать с иностранцами из капстран могли только те, кто уже проверен на "демократах". Поэтому сразу после выпускных экзаменов меня, как инженера, направили работать с техническими делегациями из ГДР, — хотя никаких курсов для этого можно было бы и не заканчивать. Сначала были переговоры по стройматериалам в какой-то конторе возле Кремля. Переживал не очень, только старался, чтобы единственное слышащее ухо было обращено в немецкоговорящую сторону.

Потом выехал в Воронеж, со спецами по синтетическому каучуку. Перед отъездом просмотрел техдокументацию, которая была у сопровождаемых: надо же было хоть как-то усвоить лексикону. Подопечным я представился как Саша. Это их почему-то рассмешило. Они радостно тыкали в меня пальцами и всё повторяли: "Рус, рус!" Я недоумевал: ну, рус, и что из этого? Только по возвращении в Москву заглянул в словарь, и до меня дошло: я попался на хрестоматийный стереотип. *Russ* — это вовсе не *рус*, а *сажа*. По работе немцы знали это русское слово, а производили с оглушением согласной, т.е. как *саша*. Отсюда и не понятая мной реакция на моё вполне тривиальное имя. Век живи...

В Воронеж мы отправились поездом. В купе не мог отделаться от ощущения, что меня дурят: всё ждал, когда же спутники заговорят по-человечески, т.е. по-русски. Не дождался, разумеется: иначе зачем бы я им был нужен. Разобрать на слух их скорострельные диалоги я не мог, и они это знали. Я чётко слышал сказанное обо мне: 'Er versteht sowieso die Haelfte davon' ("Он всё равно половины не понимает"). Но при переговорах спецы вели себя корректно и вещали членораздельно. Впрочем, у меня всегда был наготове безотказный приём: если я чего-то недопонял, то развёрнуто переспрашивал, т.е. пересказывал говорящему его же слова в моём понимании. Тот либо кивал, либо поправлял меня, и совместная работа продолжалась.

Куда труднее было с нашими косноязычными переговорщиками: их кривые падежи приходилось сначала переводить в уме на русский и только потом на немецкий. Много лет спустя, в 1991-м, довелось побыть переводчиком аж на Старой площади. Наши и немецкие высокопоставленные правоохранители согласовывали некий совместный документ. Выяснилось, что немцы знают русский лучше наших: по ходу переговоров они правили безграмотный русский текст. Аутентичный немецкий вариант ни у кого возражений не вызвал: его готовил толковый переводчик (не я).

Проверку "демократами" я, очевидно, выдержал. Дальше пошла настоящая работа. В Москве или Бресте я встречал, а затем сопровождал то одну, то другую тургруппу. Сказалась отличная учебная подготовка. Сразу возникло ощущение: это я знаю и могу. По музейным залам вёл свою паству уверенно, голос не экономил. Поэтому ко мне то и дело прибывались экскурсанты из других групп, где поводыри были не столь громогласны. Но по вечерам дома горло болело, как при ангине. Перекрывать нормальный шумовой фон, например, посреди Соборной

площади Кремля, было весьма затруднительно. Решил вооружиться самодельным мегафоном. Пригодился мощный транзисторный приёмник, который когда-то подарили венгерские коллеги после испытаний их самосвала. Стоило поднести микрофон к динамику, как раздавался громкий характерный звук, на который сразу сбегались мои подопечные.

Работа с группой считалась законченной только после моего визита в *спецкомнату*, где я обязан был вести *спецтетрадь*. Проще говоря, доносить, нет ли среди моих туристов подозрительных личностей, например, людей, похожих на разыскиваемых военных преступников. Устно по тому же поводу мне приходилось общаться с интеллигентами в штатском практически в каждом отеле на пути следования группы, в Минске, Новгороде и т.д. А изначально нас инструктировал тихий полковник с коловратным взором. Мы обязаны были пресекать попытки фотографировать оборонные объекты, а также пропагандистскую фотосъёмку помоек, невзрачных строений и т.п. С другой стороны, мы должны были активно опровергать подозрения немцев в том, что "Интурист" связан с КГБ. Знать бы мне уже тогда райкинское: "Не поймите меня правильно!" Так нет же, по наивности бросился соответствовать.

Провожая группу в Шереметьеве. На лётном поле немцы решили сфотографироваться. Сдуру делаю им замечание: «Нельзя снимать аэродромы». Туристы не поленились пожаловаться. Скандал был грандиозный. Меня едва не уволили: своим дурацким замечанием я выдал тайную связь "Интуриста" с КГБ. Оказывается, при подозрениях надо было не заниматься самодеятельностью, а обратиться к кому следует.

Хорошо, что до вездесущих "органов" не дошёл другой эпизод. При движении по шоссе многие туристы фотографировали наши неказистые придорожные деревни. Ну, разве не для

пропаганды?! Ответ на моё "низзя" был прост и, как я теперь понимаю, честен: интересны не сами косые избы, а затейливые резные украшения на окнах. Ну, не поверил я, идиот! Как не поверил и в искренность людей, которые перед прощанием в Выборге собрали на память и в подарок мне пакет со всякой всячиной: авторучки, жвачка, бутылка вина и пр. В меня жёстко была вколочена установка: данайских даров не принимать. Любой дар — попытка подкупить, развратить, а заодно и намекнуть на мою, а стало быть, и всесоюзную бедность. Так и не взял — ко всеобщей обиде.

Вообще, немцы относились ко мне лучше, чем я к ним. В них не было ни совковой закрепощённости, ни моего молодого недомыслия. Кстати, контингент — в основном, весьма пожилой. Пенсионеры охотно путешествовали, а Россия, которой их пугали, именно поэтому была интересна. Были среди приезжих и ностальгические туристы. Однажды в минуту отдыха мы с коллегой-переводчиком беседовали, сидя в автобусе. Напарник то и дело переходил на вольную русскую лексику. Вдруг пожилая немка, которую угораздило остаться в автобусе (лень вылезать, что ли?), заметила нам (по-русски!), что здесь как-никак дама. Ровесница века, она покинула Россию в 1914-м, вместе с родителями, а теперь приехала, чтобы разыскать в Москве родительский дом. Поэтому экскурсии её не интересовали: она ждала, когда спадёт жара, чтобы отправиться на поиски. Я предложил свою помощь, но она отказалась: ей хотелось найти дом своего детства самой. И ведь нашла! Об этом она гордо и грустно поведала мне на другой день.

Неприятно вспоминать и о том, как разочаровал водителем немецкого автобуса. Где-то по дороге на Ленинград щербёной выбило лобовое стекло. У запасливых немцев на этот случай с собой была пара прозрачных гибких панелей, а к ним — стой-



ки, воспринимающие напор встречного ветра. Чтобы смонтировать систему, надо было выкрошить разбитое стекло, а затем поставить и закрепить панели со стойками. Шофера влезли в комбинезоны, не снимая галстуков. Распаковали пластиковые панели. Быстренько очистили проём и... сели изучать инструкцию! По их уверенному старту я заключил, что дело им хорошо знакомо, и решил не мешать. Бегло пролистал инструкцию (ничего хитрого!) и уселся на обочине. Сам терпеть не могу, когда стоят над душой. И, не дай бог, полезут с замечаниями, если дело не ладится: укушу! Оказалось, однако, что щёбёночная напасть для обоих водил — в новинку, а аварийное эрзацстекло они ставят впервые в жизни. Кто ж знал? Провозились они долго, несколько раз начинали всё сначала. Когда наконец управились, в дороге со мной не разговаривали. Лишь на другой день высказали мне свою обиду: я, инженер (сам хвастался), не захотел помочь им, простым работягам, в таком трудном деле.

Автобус нёсся по шоссе на Брест. Справа — кладбище явно немецкого вида. Туристы просят остановиться. Я против (с чего бы?). Всё-таки останавливаемся, выходим. Перед нами немецкое солдатское захоронение 1914 года. А ты боялся, дура!

Август на исходе. Провожая свою последнюю группу. Всё шоссе от Минска до Бреста забито воинскими колоннами. В киоске на АЗС покупаю "Правду": войска вошли в Чехословакию. Очевидно, мы движемся параллельно обозу. В автобусе беру микрофон и с листа перевожу газетное сообщение. Им это нужно! Встаёт руководитель группы. Обращаясь к туристам, предлагает... спеть хором и запекает сам. Я заслушался. Газету спрятал подальше. В Бресте уже никого не встречал, а просто сел на московский поезд. Пообщаться живьём с иностранцами теперь доведётся не скоро — уже после советской власти.

## Противоракетница на сносях

*Если не у кого спросить, спроси у меня.*

Совет мартышки из мультфильма.

Случилось это в разгар застоя, при роскошной погоде, в конце лета. Подмосковные Снегири, дача, суббота, и всех куда-то тянет. На речку — уже прохладно, а по грибы — самый раз. Десантируемся где-то меж Звенигородом и Истрой. "Москвичка" на дороге не бросишь. Тесть остаётся сторожить. Такая ему награда за наше удовольствие доехать. Мы, т.е. я, жена и её подруга, забредаем в грибные кущи.

Долго ли бродили и сколько чего нашли, теперь неведомо. Где кругами ходили, а где и напролом. Наконец, сообразил: плутаем! А я — за Сусанина. Только вместо вредоносных поляков со мной две дамы. И сын, который родится через полгода. От испуга за всех начинаю метаться изнутри. Вспоминаю: когда ехали, тесть очки тёмные надел, от солнца. С дороги ушли вправо. Значит, если теперь солнце опять светит прямо в глаз, то дорога — слева. Ну, или ещё левее, поскольку солнце в сторону отползло. Повёл. Никому не до грибов. Подустали. Минуем какой-то поваленный забор. Столбы не первый год гниют на земле и поросли мхом. Ржавые колючки втоптаны в лесную тропу. Шагаем по ней. Не без трепета. Хоть и лежачее, но ограждение. Мало ли чего.

Вдруг слышу шум мотора. Неужели дорога? Ускоряюсь. Вижу за деревьями — сарай не сарай, амбар не амбар, в общем,

крыша. Сверкает на солнце оцинкованной жестью. Рядом автобус гимнастёрного цвета. У амбара солдат на посту. Возле автобуса ещё военный. Понимаю, что забрели сурово. Нас заметили. Делаю рожу кирпичом и здороваюсь с обоими воинами. Невинно спрашиваю, как выйти к шоссе. Ну, у кого ж ещё в лесу дорогу спросить, если не у часового с автоматом и майора-ракетчика!

Когда-то доблестный сержант Малофеев из гвардейской Таманской дивизии говаривал студентам лагерного сбора: «Устав знаешь, — ум свободен!» По уставу, посторонних на складской земле зенитноракетной дивизии ПВО быть не может. А ежели они есть? Да ещё сразу трое. Все без документов. Говорят, грибники, а грибов даже для маскировки намерений не хватит. На этот тяжёлый случай у майора был только один ум, свободный и противоздушный. Его вполне хватило, чтобы действовать по уставу. Правда, от напряжения единственного ума майор забыл, зачем приехал сам и пригнал под собой автобус. Потому что погрузил только нас, а со склада ничего не взял. Даже дверь складскую не запер. Поскольку забыл отпереть.

Автобус покати по узенькой бетонке. Скоро позади остался запретный "кирпич". Это знак такой: *Никому сюда нельзя, а нам можно*. Когда выехали на шоссе (похоже, то самое), я наивненько попросил нас высадить. Мол, дальше сами. Майор даже не глянул в мою сторону. Солдат за рулём упёрся в педаль газа. Погнал, увозя нас всё дальше от "Москвича" и его хозяина. Тесть наверняка уже метался в раздразе. Повязанный машиной, он не мог уйти нас искать. Ну, предположим, бог с ней, с таратайкой, пошёл бы в лес. А куда? Не собака ведь, чтоб по следу. Значит, наугад. Потом самого с собаками не найдут. И даже если б угадал — тоже без радости: точнёхонько за нами — на того же майора.

Ведь майор уже сдал *задержанных* под охрану часовому на КПП и от этого сразу вспомнил, зачем ездил на склад. Туда же и устремился. Получалось, что первый раз он мотался только ради нас. Учуял, что трое выйдут из лесу, и героически отловил. Упрекнуть его не в чем, а наградить могу только тем, что помянул его здесь за звание.

Торчим мы в проходном предбаннике, со всеми своими естественными неудобствами. У солдата с нами — сугубо уставные отношения. Велено охранять, он и охраняет. Вечером сменится с поста, — передаст нас разводящему. А стульями обеспечивать или к удобствам во двор водить — приказа не было. И вообще, ему не до нас: только успевай с воротами управляться.

Понимаю, что при таком раскладе отсидка, а точнее, отстой в этом закуте уйдёт за горизонт. Служивого не проймёшь. Но ведь делать что-то надо! От безвыходности берём часового на измор: то и дело отвлекаем идиотскими просьбами и вопросами от руководства распашными створками. В конце концов он не выдерживает и вызывает дежурного по части. Этот майор пробирается к проходной от субботних дежурных забот не меньше часа. Только для того, чтобы поведать: а) это не его дело; б) поскольку мы без документов, выяснять наши личности и штрафовать должна милиция; в) сдать нас в милицию может только командир части; г) командир будет в понедельник (!). Ушёл майор с величайшим поспешанием. Оставил нас всё в той же позиции, но хотя бы при одном стуле. Жаль, мой сын тогда ещё не мог оценить его доброту.

Как все нормальные люди, я хорош и крепок запасным умом. Задним. Огорошенный грядущими ночёвками в дивизионной подворотне, я не сразу сообразил, что майорская песня о главном — совсем другая. Её ключевые слова — *выяснить*

личности. Едва майор исчез, я опять стал дёргать солдата, чтобы позвал дежурного снова. Дальше — как в сказке: *приплыла к нему рыбка*. На сей раз майор был щедрее. На свирепость. Но я как-то исхитрился и объяснил ему, чего он от нас хочет. А хотел он лишь отвязаться. И чтобы без неприятностей на свою драгоценную. Шею. Поэтому наши препирательства быстро упёрлись в консенсус. Дамы остаются в заложницах. Меня отпускают на час. Через час я возвращаюсь с человеком, который удостоверит все личности сразу — и свою, и наши.

Рванул я с высокого старта. Благо прикид на мне был дачно-грибной, а значит, вполне для физкультурпарада. Сколько впереди было километров, я не знал. Время было важнее расстояния. Опять же, назад доведут. Пока бежал, всё вспоминал того, который умер на горе Марафон. Уж его-то я в тот час точно обскакал бы. Не в смысле финиша, конечно. Потому как до "Москвича" добрался живьём.

Дальше — полный хэппи абзац. Почти, как в Америке. Оказалось, что шофёрские права — документ абсолютный. Поскольку вполне удостоверяют: а) их владелец — мой тесть; б) я — его зять; в) моя жена — его дочь; г) которая не жена — соседка по даче; д) все четверо — не вражки засланцы, потому как с утра не емши.

Судьба отпустит ему ещё больше четверти века. После восьмидесяти он даже начнёт бегать. С чего бы?

## Кран Василия Блаженного

*Блажен, кто верует...*

А.С. Грибоедов. “Горе от ума”.

*Если продырявился носок,*

*познакомьтесь с красивой женщиной...*

Из эстрадного анекдота.

Последние полвека Вася пребывает в таком возрасте, когда дырявый носок не штопают и уж тем более не зашивают через край. Просто переворачивают дыркой набок. Вася верит, что её при этом никто не увидит. Разве что очень захочет. Очки Вася достаёт сразу из футляра, а не из телепульты выковырнуть пытается, как некоторые. Чай Вася наливает в кружку, а не в бумажный стакан, который рядом. Тот, что со сметаной. Правда, здоровье Васю всё же мучает. Беда, когда здоровье некуда деть и не на кого обрушить. Разве что на Европу, где Вася регулярно занимает достойное место. Среди чемпионов тринадцатой свежести. Вася верит, что от этого здоровье перестанет его мучить.

Всё бы ничего, но обрыдла Васе его *жизнь замечательных людей*. Продырявилась она. Давно и надёжно. На том месте, где у остальных — личная жизнь. В паспорте, значит. Там, где вы подумали, — тоже. Если вы подумали о той, которую ему бы хотелось. Чтоб принадлежала только ему. Чтоб была совсем своя. Хотя бы однокомнатная. Потому как жил Вася от электрички далеко, а сойдя с автобуса, за угол и налево. Ещё во вре-

мена исторического анахронизма вляпался в беспросветное коммунальное счастье. То самое. От которого одни не платят за телефон, а другие платят за всех. Чтоб не отключили. Вася верил телевизору и жил на яркой стороне. В смысле, платил. Пока не устал. Но тут как раз мобильники поспели. Вопрос отпал. Но не весь. Дыра неприлично сияла. Вася пытался повернуть дырявую жизнь хоть каким-нибудь боком, но так никуда свою недвижимость и не сдвинул. Потому что верил: никуда она не денется и сама сдвинется.

Ну, нету проку в родном отечестве! Вася сдался. Не в смысле, кому он сдался, этот Вася!? Совсем наоборот: евродженился. Вася верил классику. Того — вследствие ранней женитьбы — сильно раздражало неуёмное потомство. Отчего классик усердно дул на чужую воду: “Жениться надо глубоким стариком, когда ни на что уж не способен”. На восьмом десятке Вася решил, что созрел. Тем более, что незалежная русскоищущая вдова избыточных лет давно уже поджидала его за бугром ближней дальности. Вася однажды там чемпионил, наткнулся на финский домик и не слишком осторожно спросил о гостинице. За это теперь ему светила безвылазная виза в тот самый домик. С одной кроватью на всех, включая финскую кошку. Кошка ещё помнила хозяина. Поэтому имя её было втрое длиннее хвоста. По-русски она тоже понимала. Всего со второго пинка. Не то что Вася. Который вдовицу долго старался не понимать. Несмотря на все её пинки в сторону местной ратуши. Но — пришлось.

И вот уже Вася ищет в Москве угрозычную контору. Пусть нотариально подтвердит, что басурманская грамота — брачный вердикт, а не ваучер от финского Чубайса. Причём подтвердить это потребовали не русские визозлётпы, а совсем даже финские. Не потому, что обрусели в Москве и по-своему уже никак. А потому что для их визы нужен женатый штамп

в русском паспорте. За бугром таких не ставят. Только в наших загсах. Где по-фински почему-то не принято. В конце концов Вася умарафонил-таки свое заграничное гражданское состояние до паспортного вида. С которым и в посольство не стыдно показаться. Чтобы в очередь лечь. За визой.

Но Васе просто так лежать некогда. Ему запасной аэродром строить надо. В ближнем приграничье. Чтоб было где передохнуть от заботливой вдовицы. Затеял Вася шиломыльную оперу. Коммуналку свою подмосковную продать, а питерско-выборгскую купить. В прологе Вася чуть было не запел Лазаря. Который опоздал на приватизацию. Но тут уж сама Госдума за Васю вступилась. Добавила опозданту ещё пару лет. В первом акте действующие лица скоренько сплясали под дудку ригоэлтора. Вася наконец-то вырвался из коммуналки. В бомжи. Зато с ячейкой в банке. Где деньги лежат. Для второго акта.

В антракте Вася сдуру позвонил в финский домик. Оказалось, что вдовица тоже времени зря не теряла. Поскольку трубка отозвалась по-свойски, мужским голосом. Вместо увертюры ко второму акту стряслось телефонное трио. Вася сразу захотел назад, в проданное Подмосковье. Ригоэлтор утешил: коммуналку не вернуть. Предложил однокомнатную мечту. Сами знаете, кого. Пятый этаж на восьмидесятом километре. Денег в ячейке должно хватить. Только купчую не регистрируют. Потому что Вася уже зарегистрировался где не надо. Теперь надо оформить либо согласие новобрачной, либо развод.

Пришлось Васе вызвать вдовицу на дуэт. В Выборг. Это такой город-полупроводник. С финской стороны туда можно въехать без визы. Для культурного обмена. Дорогих евро на дешёвую водку. Вдовица, понятное дело, не водки ради прибыла, а милосердия для. Ей очень жалко стало. Не Васю, конечно. Так



что дуэт у них из разных опер сложился. Вася требовал назад свободу. Ну, вылитый князь Игорь во плену. Вдовица не противилась. Только вздыхала, как в "Царской невесте": "Ох истомилась, устала я". Поэтому цену за васину свободу назначила божескую. Пусть-де возместит расходы на еврогульбу по случаю их бывшей свадьбы. В размере васиных недвижимых денег.

Вася ей верил. Поэтому дуэт кончился вничью. Чтоб мечта не ускользнула, Вася оформил её на неженатого племянника. У него и жил, пока переселялся. В васину честь в новой квартире забил фонтан. Даже гейзер. Горячий источник. Потому что Вася верил в сантехнику. В молодости даже любил её профессионально. Он верил, что если открыть вентиль на горячей воде, та потечёт из крана в ванной. А не из дырки в трубе. Откуда вылетит китайский одноразовый вентиль. Фонтан парит, Вася от кипятка уворачивается, телефона нет, и вообще воскресенье. Это ж пока в незнакомом городе слесаря найдёшь, чтоб на подвальной двери замок срубил и стояк перекрыл. В выходные дни слесаря на улице не валяются. Короче, обмыл Вася все пять этажей. Горячительным. Сразу со всеми жильцами перезнакомился. Но Вася верит: ежели сразу не побили, то и в суд не подадут.

В общем, живёт Вася и радуется. Потому что верит: без финского домика, неверной вдовицы и гнилого вентиля — не было бы от новой квартиры истинной радости.

## Ты — моё желание...

*Совершите вы массу открытий,*

*Вообще не желая того.*

Из песни.

*Она* появилась у меня в доме. Доселе невзрачная жизнь обрела новизну и многоцветность. В окружающих вещах многое открылось заново. Оказалось, что серенькие тарелки и чашки — очень даже беленькие. Да ещё с цветочками! Жёлто-коричневая кастрюлька теперь слепит глаза эмалевым белоснежеством. Чёрный котелок, который родился под цвет неразмундиренной картошки, сверкает светлым металлом. Чугунная сковорода на глазах превратилась в алюминиевую!

Меня обуяла неуёмная страсть — заново познавать окружающий мир вместе с *Ней*. Чувствовать *Её* в руках, которые от *Её* присутствия обретают волшебную способность возвращать повседневным мелочам изначальную праздничность. Чуть ли не впервые в жизни радуюсь обилию этих мелочей. Каждая из них побуждает снова, до сладкого изнеможения, наводить блеск и лоск на потускневший быт. Вместе с *Ней*.

*Она* помогает мне бескорыстно, безотказно и неприхотливо. Я всегда уверен: протяну руку — и вот *Она*.

В *Ней* есть даже что-то кошачье. Когда мы с *Ней* начали усердно намывать всякую утварь, вдруг само собой возобновилось одно приятное старинное знакомство.

Да что говорить, *Она* — просто прелесть, эта стальная проволочная мочалка!

## Язык фиолетовый. Восьми лет

*Ребёнок — друг человека.*

Не наш фольклор.

Читаю лесные дацзыбао. Чтоб знать, на кого нарвёшься. Почти все наствольные вопли — о псах. Про них забывают, пока спорят об их достоинствах с такими же растяпами. Но вот SOS совсем не псиный: “Потерялся мальчик 8-ми лет. Язык фиолетовый”. Убойная примета. В ближайшие день-два буду валяться в ногах у всех встречных мальчиков, — чтоб показали язык. Хотя можно просто высунуть свой. Ответ будет асимметричным. В смысле, у кого фиолетовее.

Дёрнуло меня читать дальше. “Помесь овчарки и чаучау”. Ну да, как Олешковского листать под одеялом — это мы смелые. Мужа кобелём обозвать — хоть сто раз на дню. А клыкастый лошак в тулупе — *мальчик*. Ненаглядный.

Вот так лишился я верного подвига. Утешился у соседней берёзы. Приставший к ней *баннерный* лист никого не потерял. Даже наоборот, просил отдать. Игрушки и прочие возрастные вещи. Хоть бы и недорасходованные памперсы. В пользу сирот в детских больницах. Огорчился, что нет у меня ничего подходящего.

Зато порадовался: хоть кому-то есть дело до чужих детей. Тем более, что порой свои — как те потерянные собаки. Из-за таких детишек нынче без подвига не обошлось. Накатываю с горы. Впереди — две мамы, две коляски, два малыша — все по-

перечной россыпью. Каждый бредёт в свою сторону. Чуть призадумался объехать. Очнулся от собственного вскрика. Приложился *fac'*ом об *шay*. Упор лицом с разбега. Из нокдауна воспрял не сразу. Вперёдсмотрящий нос испытание на удар выдержал. А вот губы я слишком раскатал от задумчивости. Им досталось.

Отряхиваюсь и зализываю раны вполне по-собачьи. Потом еду по лесу *красным молодцем*. Крадучись. Народ уважительно пугается. А вот те мамы даже не вздрогнули. Не говоря уж всполошиться на мой вскрик. Всё правильно: если их дети пасутся бесхозными при родителях, то какое дело до чокнутого с железным рулём в обнимку?

При входе в квартиру упираюсь в зеркало. Губы будто поддуты и покрашены. До самой шеи. Зато язык — абсолютно моего окраса. Ярко-ехидный.



## На чём ездит соловей?

— Отчего соловей поёт?

— Жрать хочет, оттого и поёт.

М. Зощенко

Всамделишные соловьи повергают в раздумчивость. Слышу их в лесу и тормознуто гадаю: *Соловьиный проезд* — это проезд для соловьёв? Если так, то когда, откуда, куда, зачем и на чём они ездят? По одному или скопом? Может, на местных автобусах? И почему я ни разу этой соловьиной езды не видал? Кому довелось, пусть поведаёт, не таясь.

Хотя от этих птичек и похлеще случались катаклизмы. Например, в песне о сельской личной жизни. Героиня сперва мило убаюкивается:

*За рекой знакомый голос слышится,*

*Да поют всю ночь соловьи.*

В конце — всё наоборот:

*За рекой уж голоса не слышится,*

*Не поют уж больше соловьи.*

Скажете, подумаешь, беда — поют, не поют, какая разница? — Разница в соловьиных последствиях.

*Ах, зачем тобою сердце вынута?*

*Спит мальчонка, он не виноват.*

*Мне не жаль, что я тобой покинута,*

*Жаль, что люди много говорят.*

Ну, это смотря кого слушать. Ежели самих соловьёв, то они — желанные подельники в непорочном зачатъе.

*Как поют соловьи,  
Тишина, поцелуй на рассвете,  
И вершина любви,  
Это чудо великое — дети.*

Так что не зря в московских лесопарках соловьёв каждый год пересчитывают. Посредством телевизора. Который просит всякого услышавшего подозрительную трель сообщить ему, телевизору. Чтобы прогнозировать нашу лесопарковую рождаемость. И соловьиную проезжаемость. А ещё — численность конной милиции. Потому что повадился в леса soloway-разбойник. Кириллица только скрывала от нас его латинско-американскую сущность. Вовсе это не птичка, а маньяк-одиночка (solo) с большой дороги (way). Иначе с какого перепугу Илья Муромец от него напрягался?

*Тем более, что оборотни случаются не только в погонах.  
Соловей, соловей, пташечка,  
Канареечка, жалобно поёт.  
Раз поёт, два поёт, три поёт.  
Перевернётся и опять поёт  
Задом наперёд.*

Разобраться с таким перевёртышем и продегустировать его вокал смогла лишь крыловская когтистая дама-искусствовед.

*Мне скучен писк такой и от моих котят.  
Нет, вижу, что в пенье ты вовсе не искусен.  
Всё без начала, без конца.  
Посмотрим, на зубах каков-то будешь вкусен!  
И съела бедного певца  
До крошки.*

Петь вслух — вообще небезопасно. Вспомним хотя бы про акустический резонанс. Это когда басом можно потолок обрушить. А в лесу прифронтном и вовсе не расширикаешься.

*Соловьи, соловьи, не тревожьте солдат.*

*Пусть солдаты немного поспят.*

Кто спит, тот обедает. Не соловьями же. Чем обедают сами соловьи, неведомо. Знамо, кормятся не баснями. Но и не своими же песнями. Во-первых, рот (пардон, клюв) занят. Во-вторых, слушать их исстари повелось на халяву. Поэтому они вполне обходятся без нас.

*И что мы все для соловья!*

*У соловья ведь жизнь своя.*

## Добровольные штаны в ОПОПе

*Иду и слышу: кого-то бьют. Оборачиваюсь, — меня!*

И. Ильф. Е. Петров. Из записных книжек.

Слух у меня, мягко говоря, избирательный. И хромаю я не всегда медленно. Ну, вроде гонится кто-то. Может, и не за мной. “Мужчина!”, — орёт. Это уж точно не за мной. Когда он меня обогнал, то оказался милиционером. Мальчонка, едва осержанченный. С умоляющим взором. Понятой ему нужен. Для протоколу. И так мне его жалко стало. Опять же за мужчиною держит. Поплёлся я за сержантиком в тутошний ОПОП\*. Милицейский мальчик сразу рванул искать мне протокольного напарника и скоро вернулся с добычей. Привёл интеллигентно обросшего субъекта без особых примет дебильности.

Потом нам обоим продемонстрировали чьи-то брюки и свитер. Без явных признаков новизны. Вещички добровольно сдались властям. Не сами, конечно. Сдавший — тоже тут, при протоколе. Почему их надо было сдавать, да ещё добровольно, я вникать не стал. Вернее, не расслышал. Потому что сержант пояснял. Но не для избирательно слышащих. Мучить его повторами я не хотел. Вместе с напарником удостоверил своей подписью: штаны и фуфайка оприходованы и водворены на ответственное хранение. А уж на кой ляд, вопрос не ко мне.

Вот такой “Ко мне, Мухтар!” Про милицейскую боль за “портки простого работяги”.

---

\* ОПОП — опорный пункт охраны порядка.



## Вавилонская шашня

Почти русскоязычный грузин изваял русскоговорящего градоначальника. Подложил ему своё скульптурное спасибо. По счастью, градоначальник ещё не настолько обронзел, чтобы живьём тягаться в обаянии с собственной статуей. Которая, к тому же, обрамлена была чем-то вроде металлодетектора. В общем, пришлось издавание перелицевать. В русскошептавшего поляка, в тогдашнего папу римского. Вместо градообразующих рук приделать замиряющие. Кепку на камелавку перелепить. Над металлодетектором крест воздвигнуть: вроде как врата храмовые.

Самое трудное тоже счастливо свершилось: нашлось, кого одарить. Счастье привалило захолустному французскому городишке. Хилый муниципальный бюджет слегка просел под стоимостью постамента. Всё же торжествующие католические франкоговорильцы ваятелю хлопали. Правда, многие свистели против. Ваятель снисходительно улыбался: пошумят и разойдутся. Назад не повезут: денег не хватит. Потому что после открытия монумента городской кошель окончательно сдулся. Торжества обошлись вчетверо дороже каменного цоколя.

Издателя поддержал присутствием посол из соседней многоязычной страны. Очень заметной. Под микроскопом. В ту страну его сослал ещё чуть ли не генсек. Хотя на самом деле то был совсем не посол, а русскопишущий киргизский литератор. Когда генсека и генсековой страны не стало, посол остался. А теперь сгодился и сумел-таки не офранцузиться.

Благодарная Россия вздохнула облегчённо: Москва убереглась от очередной зурабины.

## Шизокрыл под кроватью

Поутру чую: кто-то на одеяле. Кошки в доме нет. Мышку я бы задней ногой не осязнул. Неужто крыса? — Наоборот. Голубь. Тинейджер. Подлётот. Недоумок.

Сколько ни гнал его в окно, он в лучшем случае бился об стекло закрытой створки. Хотя рядом — две распахнутые. И всё норовил уползти в недосыгаемый подкроватьный угол. С перепугу залетал на стол и шкаф. Чтобы оттуда — опять об стекло. Но вёл себя, на удивление, прилично. Не гадил. Метался, пока не пристроился под старым самокатом. Оттуда я его и выгреб. Лети, голубок!

А кто-то опять бьётся об телефон. Мимо распахнутой двери

## 4 x 5, с запахом Мендельсона

*Опытный начинает и выигрывает.*

*Мастер выводит вперёд.*

*Ответственный сохраняет отрыв.*

*Скоростной побеждает.*

Зима 1969-го. До боли знакомый “Красный Маяк”. Мне выпало быть третьим. Потому как ни эстафетного опыта, ни лыжного мастерства, ни особой скорости. Зато ответственности в тот день — через край. Чтобы подняться в пять утра. В Измайлове. До восьми выехать из гаража. В Зеленограде. С лыжами за кабиной. К девяти загрузиться. На сверхсекретных заводских задворках. Потом выгрузиться. На полигоне за Солнечногорском. В половине двенадцатого быть возле старта. После финиша — второй рейс. Там же, где первый.

Получилось всё. В двенадцатом часу я уже вруливал свой мусоровоз между недовольными автобусами.

Опытным тренер назначил себя. Вместо мастера у нас был просто надёжный парень. Наш скоростной ещё не появился. Тренер сунул его номер в карман. Успеется. В крайнем случае придётся самому. Ещё и за четвёртого.

Помчались мы. В смысле, ушёл первый этап. С гиком-криком и матюгами упавших. У остальных — мандраж, как на Олимпиаде. Хотя всего-то — жиденский чемпионат ремстройтрестов. Про себя решил: продержусь в серёдке. Как-нибудь.

Как-нибудь не вышло. Первопроходцы не успели толком разобраться меж собой. Прибежали кучно. *Надёжный парень* высмотрел своего, удачно подставился и выбрался из кучи раньше, чем я вообще понял, кто где. Угораздило его прискакать первым!

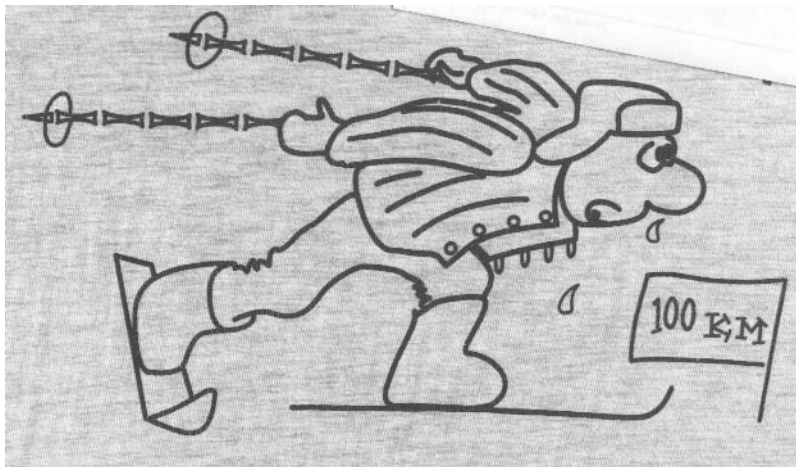
У меня даже перистальтика активизировалась. От предстоящего позорища. С перепугу спринтанул со старта под уклон. Слетел в овраг и лихо вскарабкался в гору. Тут начинается километровой тягун, и... всё! Глаза стеклянные, ноги деревянные, лыжи оловянные. И кто-то по моим лыжам сзади уже своими стучит. Не оглядываюсь, матюкаюсь про себя, отхожу в сторону — сзади никого! Дошло: это я сам за собой лыжами хлопаю. Вряд ли от этого отрыв прибавлялся. Скорее, наоборот. Но я ж не видел, каким он сначала-то был. Главное, он ещё есть. Я чуть воспрял, дошамкал тягун и замолотил по краю леса. На финишный подъём чухал, не приходя в сознание. Вытягиваю руку, толкаю чьё-то подставленное плечо. *No pasaran!* Они меня не прошили!

Приваливаюсь к столбу. Каждый вдох, как ожог. Пыхчу через варежку. Втроём ждём. Нашего Победителя. Если уж я, никакая, продержался, то ему, *скоростному*, и палки в руки. А потом и флаг.

Приволокся он даже не в серёдке. Скорее, за гранью приличия. И набросился на нас: “Чего вы от меня хотите? Я же вчера у друга на свадьбе гулял!”

История никого ничему не учит. Эта история ничему не научила меня. Грабли называются *надо*. Как можно скорее. Лучше — вчера. Ладно. Упираюсь. Каждый день к вечеру — глаза стеклянные, шея деревянная, голова оловянная. Сдаю в срок. Отдыхаю. Забываю. Через месяц — звонок. От *скоростного*. Хорошо бы, мол, кое-что подправить.

А уж кому бы не знать: Eile mit Weile. Не спеши торопиться. Сперва удостоверься, не разит ли от *скоростного* вчерашним Мендельсоном.



## Новичок из-под стадиона

*Кино никто не будет смотреть,  
если оно не про любовь.*

И. Сталин

### *Долгая дорога к ней*

Как я её ждал! Презил ею с детства. Она виделась мне повсюду. Я хотел её, искал, жаждал, вождедел. Но встреча отодвигалась, как горизонт. В четырнадцать я, наконец, познакомился с ней. В доме пионеров. Мне начала открываться её внутренняя суть, которую я жадно, по-юношески, постигал. Мне хотелось и нравилось иметь с нею дело. В семнадцать она почти вошла в мою жизнь. Но предстояло многому научиться, чтобы мы окончательно соединились. К тому же, в каникулы её место занимала другая — доступная, случайная и попроще. Но она ждала. Даже когда я ушёл в армию. Дождалась. Настало время любить. Свою единственную. Желанную. Работу.

Но чтобы подступиться к ней, нужен был *золотой ключик*. Ключ зажигания. Заполучить его мог только тот, кто прошёл сквозь три головы *Змея Государыча*: МК (не газета, а медкомиссия), ГАИ и ОК (сперва отдел кадров, а уж потом о'кей). Понятно, что дерзал я не в космонавты и даже не в дипломаты.

А чего же ещё хотеть? Отец гонял на мотоцикле и рулил всякими грузовиками. В свои три года я упоённо просвещал дворовых приятелей: «Это трёхтонка. Она ездит на дровах. Потому что шофёр работает газогенератором». В восемь лет — моя первая автоавария. Добрый солдат Егорий служил шофёром при

дорожно-строительном полковнике, а заодно пас и полковничье его племянника. Упросил я солдата дать порулить трофейным *Опелем*. Прямо по двору я прокатил вполне прилично, но после левого поворота солдат схватился за монтировку. В смысле, крыло правил. В одиннадцать лет я каждый выходной обретался в подвальном автозале Политехнического. Там было всё, от исторической автобрички до послевоенных легковушек. В четырнадцать я наизусть знал все узлы и детали полуторки ГАЗ ММ. В доме пионеров мы разбирали её до винтов.

Если я что-нибудь знал и умел по автомобильной части, то только благодаря тому детскому автокружку. Всё, чему учили в автовузе, — смутно и ненадёжно. Хотя даже права выдали. Любительские. Как и одноимённая колбаса, права были с белыми включениями. С пробелами в практической сути. Иначе бы я не починил правое крыло грузовика об забор на заводе "Электропровод". Я там однажды в каникулы подрабатывал грузчиком. Водитель ушёл обедать, и я решил переставить машину поближе к подъёмнику. Так переставил, что до сих пор помню все шофёрские слова по возвращении.

После армии сразу — на базу. Поближе к *золотому ключику*. Пока недостижимому. Ведь каждой змей-государычевой голове надо было показать всякие бумажки, чтобы получить другую бумажку, с которой она пошлёт тебя к следующей голове. Ну, или ещё куда подальше. За недостающей бумажкой.

На базе меня определили в должность весьма приблизительною. Со мной в смену и в соседних колоннах работали шофера, списанные *на берег* по возрасту, здоровью или дурному пристрастию. Мы все — дежурные механики, вернее, контролёры на выпуске и возврате. Путёвка, спидометр, бак, свет, рулевые люфты, тормоза, три раза расписаться, занести в журнал. Всё помножить на сто машин в колонне и уместить в полчаса ут-

ром, в час вечером. После девяти — выгнать на линию опоздавших с похмелья и застрявших в гараже. Плюс заявки на ремонт: вечером принять, передать слесарям; ночью проверить, сделано ли. Вот так каждые третьи сутки.

Всё бы непыльно, но в первое же дежурство понял: пора линять. Слишком велика разница. Между как надо и как получается. У меня — меньше полуминуты на машину, а при аварии по технеисправности — тюрьма. Не водителю, не слесарю, а мне, который не наездничал и кувалдой не чинил, зато расписывался. На фоне такой перспективы штраф за снятые ГАИшниками номера — милый пустяк.

### *Учебное поливалово*

Сразу не ушёл. Замаячил *золотой ключик*. Папа Карло и Карабас-Барабас в одном лице звался Серёгой. Лишенец, он отбывал свой исправительный год на дворовой поливалке без номеров и с дюралевой фомкой в замке зажигания. Водолей живенько ущучил: новый дежурный днём мается от недоперегрузки. А Серёге всегда куда-то надо было, кроме работы. Вот он и приспособил меня к своему водолейному делу. Ему — халявная свобода на полдня, а мне — упойтельный самообуч на поливальном ходу. Конечно, нельзя. Но ведь хотелось же!

### *Ночной разор*

Перегонять машины по ночам со стоянки в ремонт и обратно мне тоже было нельзя. Значит, перегонял. А то и просто гонял по гаражу между ночующими рядами грузовиков. Тем более, что ко всем замкам зажигания подходил ключ от моего домашнего почтового ящика. Кончилась ночная гульба тем, что однажды зевнул на повороте и наломал железных дров. Нашкодил, поставил покорёженный грузовичок на место, рано утром



сдал смену и был таков. Через три дня коллеги сообщили мне потрясную новость. Оказывается, той ночью кто-то по пьянке изуродовал свою и ещё шесть машин, а потом вообще запил и объявился только через сутки. Даже не помнит, где ночевал. Никого разубеждать я не стал. По совести, надо бы, а по уму — зачем? К тому времени всё уже оформили обычным ремонтом и простенько закрасили. ЗиЛовская кровельная жесьть — это вам не металл с перламутровым отливом.

### *Змей Государыч. Из головы в голову.*

После такого *happy end*'а счёл, что поливально-перегонных упражнений мне, пожалуй, хватит. Хотя бы для экзамена в ГАИ. Стало быть, пора в МК. Тогда вам не теперь, однако. Медсправки в табачных киосках не продавались. МК была одна (!) на Москву. Пропускала по 40 человек в день. Очередь на Переведеновке надо было занимать с позавчерашней ночи. Но главная подлянка для меня была в другом. Чтобы пройти комиссию на профессионала, нужно было направление, подтверждающее, что претендент — правильно! — работает шофёром. Заколдованный круг — любимейшая игрушка всех бюрократий мира. Не зря, например, по-немецки это называется *Teufelskreis* (чёртов круг). Забавно: вольный арестант Серёга такое направление получит без звука (когда время придёт). А мне — увы!

Но неужели из-за бумажки отказываться от любимой? — Нет уж. За неимением гербовой... Беру в кадрах простую справку с места работы. Сую в оконце, какую принёс. Сработало! Вместе с прочими счастливицами получаю другую бумажку и скачу на Полянку. Метро там ещё не было, а психдиспансер уже был. Психи-терапевты никуда не спешат: регистратура, осмотр, опять регистратура. Наконец, вождеденный штампик: “На учёте не состоит”. Возрадованные несостоянты снова мчат-

ся ночевать на Переведеновку. После сериала с забегами и ночёвками сама комиссия разочаровала. Круги и треугольники из цветного конфетти, неразборчивый шёпот в ухо, молоток об коленку — *годен!*

Экзаменационная контора ГАИ тоже была единственной в Москве. Но в Подкопаевском обошлось без ночёвок и посылательных цидулек. Правила движения сдал сразу, а вождение — со второго захода. При первом решил повыпендриваться и завёл мотор без стартёра, накатом с горы. Выпендрёж обошёлся в полтора рубля, с пересдачей через две недели. Едва получил удостоверение, сразу уволился и побежал по всяким автобазным ОК. Никто не хотел принимать: как шило из мешка, из военного билета торчало избыточное образование.

### *Строевая на Всемирном стадионе*

В конце концов — то ли по недосмотру, то ли по большой нужде — взяли. В гараж с самой длинной в мире фамилией: *Первая Первомайская автобаза Московского городского Совета народного хозяйства*. Но изумило меня другое: самосвальная конюшня оказалась под несостоявшимися трибунами. Рядом с Серебряно-Виноградными прудами.

Сей сталинский колизей — не что иное, как недоответ вождя на мюнхенскую Олимпиаду 1936 года. Ну, уж очень хотелось усатому поквитаться с недоусым. Как же, у того была своя мировая завлекаловка, а чем мы хуже? Этакий олимпийский синдром вождизма. Он и поныне блещет. Там, где сочинские волны плещут.

Вот и тогда затевалось какое-то вселенское игрище. Ради него запроектировали аж трёхпутную станцию метро. Со скромненьким названьицем *Всемирный стадион*. Потом всякие вожди-ленинцы называли её по-другому. Теперь — *Партизанская*

(грядёт *Сусанинская?*). До войны успели убетонить примерно четверть будущих трибун. *Мыли дожди, засыпала их пыль.* До очередного олимпийски озабоченного генсека. В 1980-м автобазу из-под трибун выгнали. Довоенные окаменелости облицевали белым, а после потешной Олимпиады передали инфизкульту. Нынешние студенты вряд ли задумываются о странностях сооружения: камерный стадиончик, почти потёмкинская лестница и уходящий под небеса трибунный сектор, явно задуманный как овал. Да ещё не тронутая Олимпиадой псевдоантичная входная колоннада на северной стороне. Там, где сейчас местный шанхай, а китайцев больше, чем тараканов.

Серые руины примелькались мне ещё в детстве, когда мы с дворовыми приятелями ходили в жару на Серебрянку. Да и трёхпутная конечная была знакомой ловушкой. Чтобы сесть на обратный поезд, нужно было снова брать билет: через средний путь не сиганёшь. За вестибюлем (где сейчас автостанция и гостиничные корпуса) — самостийная свалка и гаражи из кровельного железа. От метро к руинам вилась корявая дорога со множеством ответвлений к бескрайней помойке. По разнотравью на ступенях мы поднимались на верхнюю площадку. Наши институтские полковники облюбовали её под шагистику. Ещё бы: ровно, тихо, никто не мешает, команды гремят по-парадному, ботинки об камень отстукивают, и все на виду. Дрессировали нас классно. До сих пор могу на ходу без запинки повернуться кругОм.

Вот в такое ностальгическое место угодил я летом 1963-го. Стажировал меня на своём ЗиЛ-585 рассудительный и трезвый мужик Володя. Ему, незаменимому, без меня просто не светил бы летний отпуск. Наставник без разговоров посадил меня за руль, и мы покатали *на точку*. Для нас *точкой* был МЭЛЗ (электроламповый завод, ежели кто не слышал). По хо-

ду я научился заезжать на АЭС, делиться и стрелять из бензинового пистолета и мараковать с бензоталонами.

### *Кормилец на ладони*

Работа наша считалась сдельной. Но загрузили нас только часа через четыре. Полутрезвые молодцы неспешно валандались на площадке промтоходов. Азартно вылавливали валютоёмкий утиль. Брикетировали выуженную бумагу под прессом. Садились курить и уходили обедать. После обеда усердно топтались в кузове, — чтобы побольше вошло. Наконец, кто-то проорал: «Накрывай!» Я размотал брезент, пришитый болтами к переднему борту. Впереди — сорок вёрст: мимо Измайлова на Горьковское шоссе, потом по МКАД, в Люберцы, а там через переезд в Косино, на свалку. Но про неё — отдельное кино.

Когда вернулись на завод, вместо грузчиков нас радостно обматерил их поверенный. Выдал голубую цидулку с печатью. Там значилось, что мы честно промаячили между Электрозаводской и Косином три (!) раза. С грузом выше крыши. От завода наставник — впервые за весь день — рулил сам. Но вовсе не потому, что по рулю соскучился. Не доехав до нашего колizeя с полкилометра, он свернул в один из помойных закоулков, остановился и сказал: «Наработались! Теперь зарабатывать будем». Достал из бардачка маленький гаечный ключ на 8 мм и нежно приласкал его рукой: «Ах ты, мой кормилец!» Отвернул ключиком гаечку на изнанке спидометра. Тот подался из щитка наружу. Ободок со стеклом свободно повернулся и... повис на пломбирочной проволоке. Сама пломба осталась нетронутой. Володя долго считал губами. Потом спичкой легонько подвёл колёсики счётчика до нужного числа. Пока он возился, рядом с нами что-то жужжало. Я оглянулся. Коллега расположился со своим ГАЗиком неподалёку и крутил трос спидометра

карманным электромотором снизу. Изящно, конечно, но *наш* способ был явно спорее. Вот ободок уже снова на месте. Гаечку затянуть, и можно в гараж, на контроль.

Впервые осязнул свою покинутую должность с изнанки. Сознание двоилось: «Нельзя, нехорошо, не по-советски. Это же приписки, уголовщина». Володя на моё смущение реагировал с понятием: «Мы же не виноваты. Когда б не пьянь заводская, запросто могли бы и трижды обернуться. Или, по-твоему, мы весь день за рупь семьдесят катались?» Не убедил он меня, конечно. Позже я всегда старался, вопреки всему, уложиться в норму. Однажды сдуру перестарался: обернулся с Семёновской на песчаный карьер в Захаркове пятикратно. Учётчик всё равно выдал стандартную цидулю на три ходки. Мои лишние приписал тем, кто не управился даже дважды. Позже, когда развесистые чудеса окончательно утомили, я нашёл-таки на свою шею другой хомут. Тоже сдельный, но уже без *рисования*.

### ***Леворульные дрова***

Стажёрство моё не затянулось. Уже на третий день наставник сдал новоиспеченца диспетчерам. И поехал я в люди. Люди приняли меня за своего. Со мной это часто бывало. Вот теперь, к примеру, держат за своего те, кому под-за восемьдесят. Видимо, в мои годы прекрасно выгляжу. Для их лет. А тогда непросыхающие заводские грузчики, жуликоватые хозяева возлесвалочных утильных палаток и прижимистые возделыватели частных угодий в соседних деревнях искренне полагали, что я не только сплю и вижу зашибить рупь, но и умею это делать не хуже их самих. По их бесспорному разумению, рулить железной бандурой за тройк в день мог только тот, кто мастак не упустить при этом своё. Не будешь же каждому объяснять, что любимую нельзя своими руками обращать в продажную.

Люди бесцеремонно втравливали меня в свои делишки, за которые с них взять нечего, а я мог бы лишиться прав и любимой. Ведь ГАИшники в те времена левый груз выхватывали из потока по-ястребиному. Химерический прибыток бледнел перед откупом или, того хуже, оформлением как положено. Поэтому левый рейс — всегда на нервах. Не зря на плакате у ворот красовался указующий перст под синей фуражкой: «Налево свернёшь, — в ДТП попадёшь!» Но главное: нельзя, не хочется, не нужно, поперёк души, а делаешь. Не хватает духу сказать *нет*. Как ни уворачивался, но грешен: возил. Дрова, макулатуру, сено, картошку, вещички. Людей можно понять: не на себе же им всё это таскать. Заказать машину у *Змея Государыча* можно было, но скорее, теоретически, не всегда и не везде, а на деле канителью до изнурения, хлопотно до скандальности, дорого до бессмысленности и зыбко до безнадёжности. Вот и приставали с просьбами, хотя порой было совершенно не до них.

### *Дела п(р)омойные*

Ведь работу мою никто не отменял, а жестяная самоходка была с норовом. Может, я её — по неумелости — не особо щадил, но и мне от неё доставалось. Заглохла однажды в колее, посреди бескрайней загородной помойки. Плясал я вокруг неё день, ночь и ещё день. Всё стократно снял-разобрал-продул-промыл-прочистил-собрал-поставил, — ну, никак! Вроде и заведётся, даже поедет и — опять поддыхает. Извели меня эти подергушки до полного отчаяния. Техпомощь не вызовешь: на свалке телефонов не было. Никто из коллег буксировать меня чёрт-те куда не взялся бы. Просил кое-кого позвонить в Москве ко мне на базу. Некоторые обещали. Позже станет ясно: не позвонил никто. А пока в тысячу первый раз откручиваю бензопровод от бака. Из отверстия выглядывает вроде бы нит-

ка. Тяну и вытаскиваю какую-то волосатую дрянь. Так вот где таилась..! Как же всё просто: эта гадость то подплывала к штуцера, то отплывала. А я-то, идиот, бензонасос с карбюратором целые сутки напролёт крошил-перевинчивал.

Встречали ласково, торжественно и с понимающим подмигиванием: «Пиши объяснение, где халтурил два дня, почему нет бумаги от клиента ни за вчера, ни за сегодня и почему туфта на спидометре». Хватаюсь за голову: колёсики в счётчике спидометра давно разболтались и прыгали на ухабах. Не до цифири было, когда сутки на помойке. Уж не помню, какую надо мной учинили экзекуцию. Скоро вернулся из отпуска мой былой наставник. Пересел я на бортовой грузовик. Зарабатывать стал меньше, зато душа на месте. Оплата почасовая, на свалку не гонять, налево не рулить, а приключений не меньше прежнего.

### ***БФ по-кремлёвски***

Хотя люди, с их неистребимыми повадками, и тут доставали. На том же МЭЛЗ'е сели ко мне трое грузчиков. Первая остановка — у стекольного цеха. Один из молодцов приносит две огромнейшие колбы: не иначе, из таких делали лампы для кремлёвских звёзд. Ещё из какого-то цеха выуживается двухлитровая жестянка с клеем БФ. Только выехали, — стоп у продмага. Друзья выпрашивают у меня двугривенный. Возвращаются... с пачкой соли и чёрной буханкой. Потом надолго застреваем где-то на безлюдье. Вершится спиритизм на лысой горе. Клей выливается в колбу. Туда же высыпается соль. Молодцы посменно ворожат с колбой: крутят, трясут и приговаривают: «Сгинь, нечистая сила, останься, чистый спирт!» Вскрученное содержимое постепенно светлеет и становится почти прозрачным. В центре колбы плавает тёмный лохматый шар. Чистый отделился от нечистой и сливается во вторую колбу.

Друзья матерят меня: что это за шофёр без стакана в бардачке!? Потом как-то управляют. Теплеют и предлагают мне. Ну уж, извините! Опять матерятся. Долго крошат буханку.

Самое поразительное происходит потом. Едем на место, и они весь день честно вкалывают: грузят, выгружают и не падают! Когда возвращаемся на завод, их старшой мне объясняет: «Хороший день. А завтра работать не получится: кладовщик сказал, клея не даст».

### *Столбовой поворот*

Вот так начал я осваивать новую технику. После приручения самосвала бортовой грузовик казался тихоходом. Самонадежность без удержу скакала впереди навыка. На правом вираже умудряюсь задеть задним колесом за пасынок придорожного деревянного столба. Тот валится вдоль борта. От грохота резко торможу. Капот опутан проводами. Кто-то орёт, чтоб я к ним не касался. Место бойкое и узкое. Мгновенно набухает пробка. Выныривает ГАИшник. Плету ему лапшу для протокола: «Из-за встречной кто-то выскочил, пришлось резко отвернуть». Хотя на самом деле, просто не успел открутить руль обратно на выходе из лихого поворота. После недолгой разборки сдаю назад, вылезая из-под проводов и — в гараж.

Хозяева столба насчитали от моего геройства убытку на три моих зарплаты. Когда их из меня стали вычитать, я пошёл к четвёртой голове *Змея Государыча*. Голова предназначалась для защиты трудящихся от закона и называлась районным прокурором. Тот дал мне бумажку. По ней в ГАИ дали другую бумажку — выписку из протокола. По протоколу, виноват был некто мною спасённый. А мне причитался чуть ли не орден. Прокурор не стал тратить чернила ещё на одну бумажку: позвонил на базу, и вычтенное вернулось ко мне через месяц само.



### *Подсед под мостом*

Говорят, умные учатся на чужих ошибках. Я норовил на своих. Выезжаю как-то под железнодорожными мостами с улицы Войтовича на Нижегородскую. Над головой что-то проскрежетало. Будто состав стоп-краном тормознули. Где-то в Калитниках выгружаюсь. На обратном пути въезжаю под те же мосты и — трах-тарарах! Передок задирается на дыбы. За кабиной железо бьёт об железо. Трещат доски. Мотор дёргается и глохнет. В ужасе вылезая наружу. МПС'ный контейнер упёрся передним торцом в балку первого моста, от удара сдвинулся в кузове и рассадил задний борт. ГАИшник уже орёт на меня и тычет палкой наверх, в знак *Ограничение габаритной высоты*. А то я без него не вижу. Но ведь туда-то проехал нормально. Кто ж знал, что пока я выгружался, мосты просядут?

Отпустил он меня под безвозвратный денежный залог. Я покотил в объезд. Ударную травму контейнера и множественный перелом заднего борта долго лечили кувалдой, топором, монтировкой и прочим микрохирургическим инструментом.

Меня же мучила загадка: почему туда проехал, а обратно упёрся? Не помню, сколько дней или лет (?) прошло, пока оседало. Туда машина подседала под гружёным контейнером, и он едва пролез. Вот что скрежетало-то! Ну, а после выгрузки, сами понимаете... Случай прибавил мне опыта и сомнительной известности.

### *Двойной ВВП с угоном*

Скоро эта известность неизмеримо возросла и заиграла новым светом. Возил я на какую-то стройку за Подольском двухтонные бетонные блоки. Изо дня в день, по две штуки, за 70 км. На погрузку — в хвост, на разгрузку — тоже. Тоска простояная. За день еле оборачивался. Чтобы поскорее от такой

радости отбойриться, решил удвоить свой ВВП. Враз вывозимый продукт. У ворот гаража вечно паслись бесхозным стадом разные прицепы. Под трибунами, промеж бетонных колонн, с ними было просто не повернуться. Поутру получаю постылый наряд. Цепляю бортовой двухосник. Гордо грузу и привожу на стройку двойную дозу. По возвращении жду поздравлений. Хотя бы за сообразительность. Получаю: а) матюги от хозяина прицепа; б) выговор от начальства за угон (!) и самоуправство. Пишу очередную объяснилочку: мол, хотел как лучше.

Вообще-то меня действительно стоило вздрючить. Но совсем за другое. Дело в том, что мой ЗиЛ-164 вовсе не рождён был тягачом. В отличие от ЗиЛ-164А, у которого и мотор чуть мощнее, и тормозной кран двухкамерный, и розетки есть для прицепа. Моя рационализация была опасной авантюрой. Буксировка пятитонного прицепа без тормозов, с неработающими стоп-сигналами и поворотниками чудом обошлась без ЧП. Но об этом никто из моих ругателей даже не заикнулся. Не по инструкции — *караул!* А что угробиться мог или угробить кого — *подумаешь!*

### *Грузите шляпы тоннами!*

Меж тем любимая упорно учила меня именно думать. Обо всём и заранее. Занарядили меня однажды под витринное стекло. Полный кузов опилок. На них — дорожущее полированное диво. Треснет — не рассчитывать. Едешь, будто пироксилин везёшь. Кто видел кино "Плата за страх", тот может себе представить. Довёз. Разбили его уже потом, когда вструмляли в витрину. Привёз второе. Этому повезло. Магазин воссиял. Поехали за товаром. Из Измайлова в Черёмушки. Спешили очень. Гоню и удивляюсь: чего это встречные шофера руками будто вспархивают, когда меня видят? Погрузка оказалась канительной: дол-

го-долго выносили и уносили какие-то коробки. Едва отъехали, толкая экспедитора: «Глянь, кто-то себе обратную дорогу опилками пометил». Посмеялись. После пятого или шестого поворота до меня дошло. Но сопровождаенцу говорить не стал. Ему ещё будет не до смеха. Когда обнаружит, что почти все оставшиеся в кузове опилки перекочевали в плохо закрытые коробки с товаром. Буквально набились в дамские шляпы. Мы их вдвоём битый час отчищали от приставшей дряни. К путёвке я приложил в тот день накладную с прелестной записью: «Груз: шляпы дамские. Вес груза 4 тонны».

### *Ляпис казначейский*

Будь в стране всё по уму, никогда бы не попал в казну самого *Змея Государыча*. Ан довелось. Вывозил оттуда чистое серебро. В слитках. Не себе, конечно, а заводу ВДМ (вторичных драгметаллов). Завод перерабатывал фотоотходы всей страны. Из них получали не чистое серебро, а серебряную соль, ляпис. Продукт весьма ценный. Поэтому на него заводу спускали план. А план — закон. Его нарушать опасно. Когда нужных отходов не хватало, план по ляпису горел. От лишения премии погорельцев спасала казна. На ляпис изводили денежное серебро. Возил его и я. С охраной, вестимо. Рядом дед сидел, со штыком на суворовской пищади. Ехали через пол-Москвы, с просевшими рессорами.

По приезде грузчики ворочали тяжкие чушки безо всякого пиетета, с подручными матюгами. Потом садились покурить и поговорить... о любви. Необъятная тётка разбросанных лет рассказывала о своей первой брачной ночи: «Он лежит, колышется, я лежу, колышусь. Так всю ночь и проколыхались».

Гогочу вместе со всеми. До защиты диссертации остаётся 14 лет.

## Детский мир

*Мы — дети галактики,  
Но самое главное,  
Мы — дети твои, дорогая Земля...  
Из песни.*

В середине 80-х я жил в Ховрине. Рядом был детдом для самых маленьких. Когда мимо проходил любой человек, похожий на мужчину, одинаково одетые малыши наперегонки мчались к ограде, отталкивали и старались перекричать друг друга: “Мой папа, мой! Нет мой, мой папа!” Иногда меня призывали в родители по несколько раз на день. Слышать это было невыносимо. Стал ходить другой дорогой.

В воскресной марафонской электричке самобеглые полужнакомцы приняли элегантную одноклубницу за мою дочь. Хм... Вообще-то, она уже пару лет бабушка. А я тогда кто?

На выезде из леса двух- или трёхлетняя девчужка громко позвала вслед: “Па-апа!” Мать ей что-то возразила, но дочура оказалась с норовом: “Нет, папа, папа! А ты — дура. Потому что не знаешь моего папу!”

У моего подъезда — три коляски, три мамы, три сигареты. Не сдержался, вякнул. Мол, нехорошо детишек дымом травить. Болеть будут. Ответ был убойным: “Тише, разбудишь!” В смысле, вдруг проснутся, спокойно докурить не дадут.

*Всю жизнь  
тому назад*



## На траве — дрова, на дворе — война

Всю жизнь полагаю себя москвичом, хотя рождён в рязанском крае, в семье заезжего малоросса. Во взрослой жизни лишь однажды побывал в родном селе Шелемишеве. Это около 350 км от Москвы по дороге на Тамбов. Летом 1977-го съездил туда на велосипеде. Понятно, что кроме ностальгического захолустья, ничего не увидел. Нашлась единственная полуслепая старушенция, которая помнила моего отца и указала на пустырь, где в начале войны стоял наш дом.

*Судьба для нас отца хранила.* В апреле 1937-го, когда он был секретарём Сталинского райисполкома, начальство прослышало о его неосторожном заступничестве, которое по тем временам было смертельно опасным и для него, и для начальства. Вот и сослали его от греха и от Москвы подальше, в сельский райцентр, на партийное секретарство. Осенью 1940-го вернули в Москву, на прежнюю должность. То ли за заслуги, то ли чтоб место для очередного передвиженца освободить, — теперь уж не так важно.

В исполкоме отец отвечал, в частности, за т.н. нежилые помещения. Одно из них ему разрешили заселить своим семейством. Складской подвал пустовал, поскольку не отапливался, а по весне его затапливала грунтовая вода. Можно только догадываться, сколько труда отец положил, чтобы разгородить эту чёрную дыру и приспособить её под жильё. А потом ещё и утвердить в статусе рядовой квартиры, — чтобы прописать нас всех. Так я и стал москвичом.

Говоря по-нынешнему, мы поселились в микрорайоне довоенной постройки. Под номером 15/17 по Малой Семёновской числились шесть кирпичных пятиэтажек и несколько засыпных двухэтажных домов. К кварталу примыкали школа (в войну — ремесленное училище, потом ПТУ, а теперь, поди, колледж), сквер и поликлиника № 64 им. X-летия Октября. Фасады двух пятиэтажек выходят на Измайловский вал, по которому гремели трамваи. В угловом корпусе — магазин. Он и поныне там, напротив фабрики "Красная Заря". В нашем, 5-м корпусе прямо над нами, на первом этаже находились детские ясли. Туда меня время от времени сдавали на дневное хранение.

В июле 1941-го, на первой волне эвакуации, отец снова отправил нас в Шелемишево. Но жить там было уже негде и не на что. К тому же, опасно. Где-то рядом уже был бой с немецким десантом. В середине сентября, после ранних заморозков, мать не стала дожидаться настоящих холодов и пустилась с нами в обратный путь. Железную дорогу бомбили, но поезда на Москву ещё ходили. В Рязске вагоны брали штурмом и дрались даже за места на крышах.

На вокзале встретились добрые люди, которые хорошо знали нашего отца. Они взяли для нашей матери билеты, затолкали в один вагон её, в другой — старшего сына с вещами, а двух младших просто загрузили через открытое окно. В битком набитом поезде мои истошные вопли помогли семейству воссоединиться.

В пути обошлось без бомбёжки, но в Москву никого не пускали. Поэтому в Воскресенске почти всех высадили. Мы затаились и остались. Потом упёрлись в патруль на Казанском. Самое большое, чего матери удалось добиться слезами и последними деньгами, — чтобы разрешили перебраться на Ярославский.



Поперёк привокзальной площади испуганно шагал носильщик. На тележке — два узла и трое малолеток. Рядом — мать. И патрульный. Бдит, чтоб не подались в город. Иначе недобровать и ему, и носильщику. Чудом доехали до Загорска. Там нашей бабушке сделалось видение: дочь со всем выводком.

В ночь с 16 на 17 октября 1941 г. начался массовый исход москвичей. На восток, по Владимирке — не пробиться. Значит, на север, по Ярославскому. Дорога — как река в половодье. Проезжая часть запружена беженцами, вперемешку с машинами и подводами. Москву и предместья всю бомбят. Продвигаться приходится в темноте. Видны только синеватые огни изпод светомаскировочных фар. Навстречу, в Москву — никого и ничего.

Но вдруг волна уходящих колыхнулась вправо и стала обтекать встречную воинскую автоколонну. Кузова грузовиков зачехлены брезентом. Рессоры осели. В Москву с артиллерийского склада в Загорске везут зенитные снаряды. В первой машине рядом с водителем — майор, начальник колонны. Вообще-то, возить снаряды — не его дело. В Москве он командует всего лишь Сталинским районным ОСОАвиаХим'ом (Общество содействия обороне, авиационному и химическому строительству — предтеча ДОСААФ). Но по должности входит и в районный штаб гражданской обороны. На территории района развернуто несколько зенитных взводов ПВО. Окопы для зениток вырыты в парках, скверах, на стадионах. Когда в Москве объявили осадное положение, то в очередной рейс за снарядами майор напросился сам.

Он знает, что вопреки всем приказам, в кабинах двух других машин — штатские: женщина и трое детей, восьми, двух с половиной и полутора лет. Перед Мытищами начальник оставляет колонну. Дальше штатским нельзя. В Москву их не

пустят, задержат на первом же КПП. Все четверо забираются в кузов и заползают под брезент. За Яузой колонна поворачивает на Сокольники, для первой выгрузки. А последняя — в сквере у Хапиловки. Здесь штатским уже можно вылезти из-под брезента. Они почти у своего дома.

Вот так наш отец вывез нас из Загорска в Москву, на встречу общей волне. Видимо, полагал, что в Москве хотя и опасно, но не больше, чем в Загорске, рядом с артскладами и резервными войсками. Ничего этого я, конечно, не помню. Просто передаю рассказ старшего брата. Но как знать: может, привычка переть встречу потоку во мне не случайна?

Вскоре после зенитноснарядной Одиссеи отец надолго исчез. Причём скоропостижно: не успел даже оформить продаттестат на семью, так что она осталась вообще без средств. Как выжила — непостижимо. А он — с ополчением — попал на тульский участок обороны Москвы. При отходе немцы подожгли угольные шахты. Ополченцы гасили эти пожары. Для отца, с его туберкулёзными лёгкими, дело кончилось госпиталем и списанием в тыл — по безнадёжности. К лету 1942-го он слегка оклемался и вернулся на работу.

Примерно с этого времени я уже помню и себя, и наш военный быт. Его я считал единственно возможным: иного просто не знал. По-детски жадно познавал мир и не подозревал, что он бывает без войны. Ведь из чёрной тарелки репродуктора одинаково регулярно слышались и утренний гимн, и многократное: "Граждане, воздушная тревога!" Я не знал, что такое или кто такие *граждане*. Но знал, что это — сигнал опасности для всех. Услышу его первым и сразу транслирую: "Мам, опять г'аждане!"

По первости мать потащила с нами даже в недостроенное метро. Но спуск и подъём с тремя детьми по деревянным настилам в наклонном тоннеле будущей станции "Семёновская" её

доконали. После этого она как-то сводила нас в убежище под магазином. Потом решила, что наш подвал — сам по себе не хуже убежища. Если меня сирена заставала во дворе, важно было заскочить в свой подъезд, пока дворник его не запер. Иначе загнали бы в убежище. Одного. А для меня это пострашней налёта. Которого я так и не видел ни разу.

Хотя налёты, конечно были. В основном, по ночам. Поэтому светомаскировка была строжайшей. Свет по тревоге отключался сам. Зажигать керосиновую коптилку, сделанную из снарядной гильзы, можно было, только опустив чёрные бумажные шторы на наши подвальные оконца. Наружные оконные стёкла во всех домах были перекрещены наклеенными бумажными лентами, — чтобы не рассыпались от ударной волны. Всё это было не зря. Рядом с нами, у самой Хапиловки, бомба попала в двухэтажный дом. Мы с дворовыми мальчишками бегали смотреть на развалины.

Сейчас на этом месте школа № 723. А тогда тех, кто уцелел, расселили. Одно семейство заняло пустующую часть нашего подвала. Отец лишился своей столярной мастерской, а мы обрели соседей. Меня это сильно расстроило. Потому что теперь негде стало играть со стружками, которые, как я считал, отец делал своим рубанком из досок специально для меня.

Чего только он для меня не делал! Кто-то выбросил остов трёхколёсного велосипеда. Я подобрал и приволок отцу. Тот отрезал от бревна две плашки и насадил на заднюю ось. С каким восторгом я раскатывал по двору! Жаль, недолго: мой первый велик с деревянными задними колёсами скоро куда-то исчез. Только отец смог погасить вселенский скандал, который я учинил, когда пропала моя любимая, очень маленькая, чайная ложечка. Я соизволил угомониться лишь после того, как отец выковал из подручного железа некое подобие моей утраты. Когда

мы пересаживали очередную тревогу при свете коптилки, отец развлекал меня тенью от своих рук на стене: тут тебе и собака, и коза, и чёртик весёленький.

Конечно, у него и без моих капризов хватало забот. Например, он стал местным первопроходцем поневоле, когда соорудил *буржуйку* — железную водогрейную печку с дымовой трубой, выходящей в окно. Топили всем, что горит: штaketником со сквера, бывшим фонарным столбом, той же стружкой. Настоящие берёзовые дрова, да и то чужие, я видел лишь иногда. Их привозил грузовой трамвай для ремесленного училища. Оно расположилось в бывшей школе и наскоро готовило станочников для военных заводов. Ремесленников приводили на разгрузку строем. Они сбрасывали дрова на прошлогоднюю траву сквера, а затем уходили, тоже строем — каждый со своей ношей на плече, как с винтовкой.

У нашей *буржуйки* к баку был приделан сливной краник, из которого я как-то сдуру заглотнул кипятку. Вот уж крику было! Громче я вопил лишь однажды, — когда бросился от кого-то прятаться под лестницу и с разбегу налетел в темноте на бухту колючей проволоки. Отец хранил её там для нашего огорода. Грядки были рядом с домом. На ограду пошли выброшенные из яслей старые железные кровати. А для верности — та самая колючка.

Из того, что росло на наших грядках, вкуснее всего мне казалась молодая морковная ботва. К тому же, в отличие от самой морковки, ботву не надо было ни мыть, ни чистить. Из иной еды запомнились картофельные очистки. Их проворачивали через мясорубку. Из фарша лепили оладьи и жарили на воде. Голые глаза это жареново вождели. Но желудок, даже совсем пустой, больше одной-двух лепёх не принимал. Уж очень вкус специфический! До сих пор во мне жива военная привычка не

просто есть, а набрасываться на еду. Поскорее проглотить побольше, пока не распробовал, — вдруг потом больше не захочется.

Очередь за хлебом в мороз мы с братьями сторожили по-сменно. Палатка, в которой отоваривали хлебные карточки, была довольно далеко, на углу Малой Семёновской и Девятой Роты. Когда именно привезут хлеб, было неведомо. Просто стояли, мёрзли и ждали. Шею тянуть не требовалось. Запах свежего чёрного хлеба мы чуяли раньше, чем гужевой фургон появлялся на горизонте. Нам на карточки доставалась целая буханка (суточная норма для пятерых) и ма-аленький довесок. За него мы нещадно, по-братски дрались. Реже делили, да и то не поровну. Ни разу не донесли до дому, это точно.

Бывало и иначе. То ли нормы были разными, то ли добрый человек от себя отрывал, но раза два меня по-соседски угощали чёрным хлебом, да ещё чем-то намазанным. Просто ровесник с верхнего этажа зазывал меня в гости, а его мать кормила нас обоих. Этого мальчишку звали Волька. Владимир Углов узнал меня даже через много лет, осенью 1958-го, на студенческом кроссе в Покровском-Стрешневе.

Мне было легче, чем старшим. По детскому неразумению я не воспринимал войну как всеобщее или личное страдание. Даже слова *погиб* или *пропал без вести* не пугали, а были всего лишь привычно непонятными. Как те же *граждане*, *бронь*, *отоварить жиры горохом* и т.п. Мало того, война каждодневно чем-нибудь развлекала. Заслышим, например, грохот и сразу бежим глазеть на танки. Они идут колонной, гремят по булыге, а сквозь открытые передние люки видны настоящие танкисты в шлемах. Или завидим в небе серебристый дирижабль с красными звёздами и стоим, разинув рты, пока он не уплывёт из виду. Я мог неотрывно смотреть, как разматывается с автомобиль-

ной лебёдки трос привязного аэростата. Летом 1943-го, когда начались победные салюты, мы, кажется, вообще не слезали с забора: забирались повыше, чтобы видеть дальше. А сколько дурацкого счастья было, когда трамвай с автоматным треском давил патроны, которые мы раскладывали на рельсах. Даже похоронные процессии, которые шли с оркестром мимо наших домов к офицерскому кладбищу на Преображенке, мы считали всего лишь обязательным повседневным зрелищем.

Зимой так замечательно было скатываться со взгорка на краю сквера. По весне преинтересно было смотреть, как пожарные разматывают с катушки брезентовый рукав, а затем откачивают воду из нашего подвала. Я светился от гордости: ни у кого настоящего потопы дома нет, а у меня есть! А ещё я уже в три года выговаривал слово *газогенератор* и знал, что в войну машины ездят не на бензине, а на берёзовых чурках. У меня была настоящая пилотка, которой при желании можно было зачерпнуть из лужи. Я уже быстро бегал и мог догнать противного коота. Однажды я его изловил в подъезде и, держа на весу за хвост, предъявил матери: "Я кису принёс!" Если мне давали пятак, я мог сам сбегать через дорогу к ларьку и выпить настоящей газировки. Правда, без сиропа: мечта о газировке с сиропом сбудется лишь после войны. А вообще мне уже целых три года.

В день рождения кто-то подарил несколько настоящих грецких орехов. Пока я на них губу раскатывал, взрослые велели поделиться с братьями. Орехов стало втрое меньше. Горе моё было безмерным. Это же мой день рожденья, при чём тут они?! С той поры при словах *делиться по-братски* вспоминаю своё трёхлетие.

В ту пору все, даже дети, носили военную форму. Мать перешивала её для нас из отцовской. Нашими игрушками были стреляные гильзы, медные пуговицы, красные звёздочки, ко-

мандирские ромбы и шпалы, армейские пряжки и т.п. Но штатский, домашний быт тоже был прелюбопытен. Я знал, что электроплитку включают в сеть через *жулик*. Это патрон такой, у которого вместо гнезда для лампочки — две дырки для вилки. Розетки-то с началом войны были ликвидированы, — чтобы экономить электричество.

Я видел, как рубят капусту сечкой в корыте. Как надевают обручи на бочку и кладут на капусту здоровенные булыжники. Как открывают зубастую пасть утюгу и закладывают туда раскалённые угольки из печки. Как набивают табаком бумажные гильзы, чтобы получились настоящие папиросы. А как здорово было растребушить на волоски смычок отцовской скрипки! Или расковырять плюшевому Мишке стеклянный глаз и посмотреть, что там внутри. Правда, за смычок мне нагорело, а осколок стекла попал в мой глаз. Зато непрерывно пополнялась незримая копилка моего опыта. Не военного, а просто житейского.

## Я вам расскажу свою Одессу...

*Нет ничего лучше и здоровее, чем воспоминания,  
вынесенные из детства. Если много таких  
воспоминаний, то и спасён человек.*

Ф.М. Достоевский. "Братья Карамазовы"

Для тех, кто знает об Одессе только из телевизора, это город первоапрельского юмора, город Утёсова, Жванецкого, Карцева. Для читавших — город Бабеля. Для бывших кинозрителей — город Бернеса и шаланды, полные кефали. Для заезжих курортников — город пляжей. Для советских гэбэшников — город отъезжантов. Для самобеглых старцев — город первой, круглосуточной "сотки". Для московских поклонников оперетты — город белых акаций. Для самих одесситов — город жизни. Для меня — город детства.

Здесь я прожил с осени 1944-го до зимы 1946 г. От 4 до 6 своих лет — самый восприимчивый возраст. Когда мир познаёшь из чистого любопытства. Принимаешь его таким, как он есть. Прекрасное время удивляться новому, а не страдать от неудобств бытия. Вот ехали мы из Москвы в Одессу на поезде много дней. Стояли часами и сутками. Получалось, что даже не ехали, а жили в дороге. Но я-то и не знал, что должно быть иначе. То было моё первое впечатление от железной дороги. Всё,



что я мог увидеть в вагоне, на перронах, за окном, было внове. Что это, зачем, а как оно действует? — Ответы нужны были сразу, пока *это* не исчезло из виду или пока перед глазами не возникло новое *это*.

В едва освобождённой Одессе было много развалин. Но из-за войны население резко убывало. Возможно, поэтому нашлось место и для приезжей московской семьи. Мы поселились на улице Тарло, бывшей Ремесленной, а теперь Осипова. С первых дней пребывания взрослые велели запомнить адрес. Я и запомнил. Ремесленная, 5. Вход со двора.

Пустое пространство лестничной клетки показалось огромным. Не только мне. Позже, когда стали возвращаться настоящие одесситы, эту пустоту разгородили. Получились добавочные комнаты. Стенки возводили из плит, которые по виду походили на прессованную траву. Возможно, это был камышит. Нам поначалу достались две комнаты. Мы трое разместились в большой, проходной, с балконом, выходящим на улицу. Под балконом росли деревья. Тут же запоминаю моё первое одесское слово: *акация*. Комнату поменьше заняли родители. Потом нас "уплотнили". Наши двери в маленькую комнату заделали, а в ней пробили новый выход — туда, где травяные стенки. По ту сторону бывших дверей возникла другая квартира. Там жили Потаповы. С той поры эта фамилия неприятно ассоциируется с "уплотнением". Хотя невольно присоседившиеся жильцы ни в чём не виноваты.

У выхода из нашей квартиры справа была ещё одна комнатуха. Здесь обреталась некая незлобивая бабуся. О ней только и помню, что торговала семечками. А вот угощала ли ими, — не помню. Ей я обязан и вторым своим одесским словом. На кухне в её тазу плавали две огромные (как мне показалось) рыбины. Вопрос — ответ. И помчался во двор, к маль-

чишкам, поделиться радостным открытием: "А большая рыба называется судак!" Надо ли говорить, что с этого дня кличка *Судак* закрепилась не только за мной, но и за средним братом. Нас, погодков, мать одевала почти одинаково. Поэтому сверстники обозвали нас тоже одинаково. А различали по возрасту: *Судак большой* и *Судак маленький*.

Впрочем, это обращение бытовало только в пределах двора. Мне тут было неуютно. Иногда случалось и непоправимое. Например, в руках у любопытного взорвался найденный в развалинах здоровенный патрон. Девятилетний Валя с той поры ослеп. Я видел его в 1962-м. Под руку с женой-поводырем. А ведь я практически был свидетелем того злосчастного взрыва: всё видел с чёрной лестницы. Меня и до этого чаще тянуло на улицу, чем во двор, а потом и вовсе.

Даже детский сад в моей памяти — это прежде всего одесские улицы. Камера хранения дошколят находилась в подвале соседнего дома. Манная каша, уколы, тихий час, козлогонные раскладушки — всё как-то через запятую. Главное событие каждого погожего дня — поход к морю. Не завидую нынешним воспитателям, которые вынуждены топтаться с малышкой на огороженном пятачке. Детей трудно и нечем развлечь. Они быстро устают друг от друга, ссорятся, дерутся. Наставники вмешиваются. Все ненавидят всех. Если бы нас держали в подвале или рядом, во дворе, не миновать бы и нам того же. Но то ж Одесса! Нас строили парами и вели по центральным улицам — к морю. Какой же строй без песни. Старшие впереди задиристо начинали:

*Ты, моряк, красивый сам собою,  
Тебе от роду двадцать лет.  
Па-любви, меня, моряк, душою,  
Что ты скажешь мне в ответ?*

Мы, младшие, радостно подхватывали:

*По морям, по волнам,*

*Нынче здесь, завтра там.*

*Па-а морям, морям, морям, морям,*

*Эх, нынче здесь, а завтра там.*

Не думаю, что этот фольклор мы разучили на музыкальных занятиях. Просто переняли друг у друга. Хотя пели, конечно, и военное.

*Три танкиста, три весёлых друга...*

*Тёмная ночь, только пули свистят по степи...*

*Артиллеристы, Сталин дал приказ...*

Под песню дорога не казалась длинной. А девчонка, с которой велено было идти в паре, не казалась противной. В песне мы просто по-детски радовались жизни. Лишь через 17 лет я узнаю, что такое принуждать к строевой песне. Сержант Малофеев, старослужащий Таманской дивизии, от души поизмывался над будущими лейтенантами, студентами лагерного сбора. Уж не помню, сколько раз кряду заворачивал нас от столовой. Непокорный взвод не хотел исполнять команду "Запевай!". На очередном холостом прогоне во мне опять работало: "Если не я, то кто же?" Безо всякой команды, не очень уверенно, но очень громко начал: *Забота у нас такая...* Подхватили. Больше разворотов не было. Меня, как самого безголосого, сержант назначил запевалой. *И лучше выдумать не мог.* Ещё в Одессе наша соседка внизу, пожилая мадам Эммануэль попыталась было разучивать со мной на пианино "Чижики-пыжика". Ха-ха. После первой же попытки я был отпущен на волю с вердиктом: "Глухарь!"

По утрам навстречу детворе по другой стороне одесской улицы шли пленные немцы. Их вели работать: разбирать завалы, отбирать годные кирпичи и т.п. Они стучали по брусчатке

самодельными деревянными сандалиями, но не пели, а командовали сами себе на ходу: '*Links, links, ein, zwei, drei!*' Нас смешили их деревяшки на ногах и дурацкие команды. Мы весело передразнивали: "Эй, айн, цвай, драй!" Для меня то были первые немецкие слова.

[Мне потом ещё немало доводилось общаться с пленными немцами. В конце 40-х они много строили в голодной Москве. За кусок чёрного хлеба у немца можно было выменять какую-нибудь поделку: красивое дюралевое колечко, а то и зажигалку из винтовочного патрона. В 1948-м я даже подружился с неким Гансом. Он был по сути денщиком у моего дядюшки, полковника сапёрных войск, и прислуживал ему на даче, где-то под Уфой.

Странно, но прямые контакты с носителями языка нисколько не подвигли меня к его изучению. Это пришло чуть позже. От Гайдара. Не нынешнего, конечно, а от его деда. У Аркадия Гайдара была повесть "Пакет". Бумбараш — это оттуда. Так вот, в четвёртом классе учительница читала нам на уроках эту повесть по-немецки. Оригинальных-то текстов на языке в ту пору быть не могло. Выручали т.н. адаптированные, иначе говоря, переведённые с русского. Преподавательница использовала закрученный сюжет, чтобы привлечь наше внимание к немецкому тексту. Не знаю, кто как, а я пытался хоть что-нибудь понять до её перевода. Вот так и заразился. Но к Одессе это не относится.]

Одесские уличные запахи — это, конечно, не только акация. Неутолимый послевоенный аппетит будоражило всё, что продавалось по пути. Жареные *бубочки* (чищенные семечки). Козинаки (те же семечки в патоке). *Пишёнка* (варёная кукуруза). Но больше всего манили пунцовые варёные раки. Как я мечтал хоть разок угрызть это хрустящее диво! Я ж тогда не знал: есть-то в них почти нечего.

Мы, безденежная мелюзга, завидовали и удивлялись взрослым, которые могли, но не торопились купить вождеденные яства. Хотя и у меня какие-то деньги были. Кажется, родня дарила на день рождения. Помню, кто-то из гостей пытался дать мне червонец в обмен на мою трёшницу. Я упрямо отказывался. На червонце была нарисована большая единица. А я-то знал уже, что один меньше трёх. Меня хором уверяли, что червонец — это аж десять рублей. Я так и не поверил. Если десять, то почему единица? Кстати, моей трёшки хватило бы на три стакан семечек. Куда она делась, не помню.

По дороге к морю мы проходили мимо дома с кариатидами. Это мужики такие каменные, могучие, голые, обвитые удавами. А может, это были атланты. Те самые, о которых песня: *Атланты небо держат на каменных руках*. У этих на плечах держался целый дом. Я всё удивлялся, как он не рухнет. Но задумываться особо некогда. Вот и море. Само оно едва помнится. Конечно, нас на глубину не пускали и плавать, увы, не учили. Как-то в выходной мы были на пляже всем семейством. Старший брат заволок меня подальше. Я со страху мгновенно нахлебался горькой воды и едва не утоп. После этого, естественно, стал бояться глубины и всяческих неосторожных игрищ на воде. Иногда вместо обычного пляжа нас приводили на лиман. При словах *лечебная грязь* я смеялся и, если честно, до сих пор в эту якобы панацею не верю.

Кроме моря, нас водили гулять куда-то на природу. По краю огромного поля росли каштаны и грецкие орехи. Незрелые плоды каштана я поначалу принял за большие груши. Я так и не понял, как это каштаны можно есть. Для меня они — всего лишь красивые камушки. Даром что с деревьев. Мягкая зелёная оболочка будущего грецкого ореха нещадно красила руки несмываемой чернотой. Примерно тем же кончалось и обще-

ние с одуванчиками. Помню, тщетно пытался перенять у девочек умение плести венки. И откуда оно у них в 4 или 5 лет? Зато им было неинтересно смотреть, как на поле шли настоящие военные учения. Вдалеке были расставлены зелёные фанерные мишени в рост человека. Солдаты-обученцы целились в них. Если попадали, мишень заваливалась на бок, а потом снова выпрямлялась, как ванька-встанька. Я считал такую войну нечестной: на правильной войне мишень должна прятаться и бегать, а не торчать на виду.

Меж тем настоящая война, которая давно уже была где-то далеко, однажды кончилась. Вечером меня позвали на балкон. С высоты нашего второго этажа вдали можно было увидеть портовую иллюминацию и салют. Город постепенно возрождался. Снова пошли трамваи. Я уже знал цифры, но не мог понять, почему у вагона спереди один номер, сзади другой, а сбоку и во все третий. Ещё больше удивляло, что и взрослые этого не понимали, но ездили и приезжали, куда хотели.

По Пушкинской прокладывали первую троллейбусную линию. Я бегал смотреть, как разматывают огромную катушку со сверкающим медным проводом. Когда со временем провода потускнели, мне стало жаль их праздничного сияния. Конечно, много в городе пока не было. Например, настоящей "скорой помощи". Когда с нашей матерью что-то случилось и надо было отвезти её в больницу, отец пригнал *Студебеккер*. Больную вынесли по лестнице и погрузили в кузов армейского грузовика прямо на матрасе.

Уличное познание мира не прерывалось и дома. Братья всю учились в школе. Старший зубрил на украинском про волка и ягнёнка: *Як смєєш ты мене пытати, щєня?* Для него же почта приносила "Зірку". Это не зорька, а "Звезда", газета украинской пионерии. Пожухлый газетный лист, которым был за-

стелен стол брата, стал моим букварём. Русскую грамоту я освоил по украинским заметкам *про піонерські справи*.

[Языки разные, но очень схожие. Помню времена, когда наши радио и ТВ передавали украинские пьесы без ненужного перевода. Смеюсь на тех нынешних политиков, которые тужатся вещать *на мові* — лишь бы не по-русски. Полноте! Где бы и когда я ни жил на Украине, *на мові* были только вывески, радио и газеты. По ним и учился. Но ведь кругом все и всегда общались по-русски. В Одессе (1946, 1962, 2008). В Киеве (1961, 1966). В Харькове (1962). В Кривом Роге (1968). В Керчи (1976). В Полтаве и Кременчуге (1982). Только однажды, в захолустном селе на Криворожье, удалось попасть в украиноязычную среду. Но даже тут понимали друг друга преотлично. Жалдь, не был на Галичине. Но мать мою лечили в Трускавце — и никаких разноязычных трудностей. Те, кто их теперь создаёт, пеняют на былую принудительную русификацию. Лично я её не заметил. Не думаю, что нынешняя украинизация чем-то лучше. Она помогает перевести стрелку, отвлечь внимание от истинных трудностей, а заодно ткнуть пальцем во врага, который якобы эти трудности создал.

Воевать против половины сограждан или, того хуже, объявить их (как в Латвии) вообще негражданами гораздо легче, чем вести хозяйство. Даже у себя на кухне. Не говоря уж о стране. Но ведь придётся. Через много лет, когда вожди перестанут натравливать людей друг на друга, межъязычная распря забудется сама собой. Жаль только, жить в эту пору прекрасную... Конечно, чем выше забор, тем лучше сосед. Но у меня в Одессе отец похоронен. У миллионов россиян на Украине живёт родня. И вообще, куда теперь канет Киевская Русь?]

Как-то незаметно я перескочил с обучения грамоте 60 лет назад на нынешние невесёлые дела. А тогдашнему московскому

одесситу предстояло освоить не только буквы, но и счёт. Однажды, когда очень уж хотелось есть, а мать ещё только пыталась что-то затеять на кухне, я стал считать вслух. До десяти уже знал. А дальше? — Мать подсказала. Потом подсказывала ещё много раз, на каждом десятке и на каждой сотне. Когда дошли до тысячи, поспела *мамалыга*. Это каша кукурузная. Блюдо чуть менее обманчивое, чем котлеты из картофельных очисток. С голодухи набросишься, а много не съешь.

То ли дело был праздник, когда в конце лета нам вдруг привезли огромную корзину с виноградом и прочими фруктами. Кажется, то была материальная помощь многодетной семье. Отец работал в Главморстрое, а у главка за городом было подсобное хозяйство. Там всё это и выросло. Кстати, отец нас изредка туда вывозил покатись. Запомнилось, как *Студбеккер* осторожно пробирался по фруктовой аллее сквозь ярко-зелёные ветви. Там же я увидел у кого-то педальный автомобиль. Владелец не был жлобом и дал покататься. Сколько лет я потом о таком грезил! Увы, к тому времени, когда мечта могла сбыться, мне было уже не до игрушек.

Видимо, управляться со всеми троими нашей матери бывало не в состоянии. Поэтому время от времени меня сдавали в какой-то загородный не то санаторий, не то интернат. Здесь я впервые надолго оказался вне дома. Как же это уныло! Нет, взрослые, разумеется, старались для нас, как могли. Пуще всего берегли от вшей. Одевали во всё казённое. Стригли наголо. Шпарили нас в ванной. В ней я однажды поскользнулся и набил на затылке здоровенную шишку.

Нас берегли от эпидемий. Кололи нещадно. В хвост и в гриву. В смысле, в спину и ниже. Мы прятались. Медсестры охотились за нами и выуживали из потайных углов. Кормили нас с усилением. По утрам иногда давали по дольке амери-



канского шоколада. По вкусу он больше походил на обычную ириску.

Нас всячески развлекали. После завтрака все рисовали. Каждому доставался цветной карандаш. Если зелёный, я рисовал танк с зелёной звездой на башне. Если синий, то синяя звезда оказывалась на борту синего корабля. Красными у всех были самолёты. Перед праздниками с нами разучивали какие-то пьески из звериной жизни. Мне досталось изображать медведя. Зверь почему-то повторял подвиг Матросова. Давил лапой деревянный пулёмёт. За исполнение меня хвалили.

В феврале 1946-го внеочередным праздником оказались... выборы в Верховный Совет. Накануне нас повели на избирательный участок — слушать речь вождя. Ту самую, о миллионах тонн стали, нефти и угля, которые через три пятилетки гарантируют страну от всяких случайностей. Угораздило же меня запомнить!

Настоящими праздниками были, конечно, родительские дни. Вовсе не потому, что мать или отец что-то привозили. Однажды отец просто помаячил за забором. Из-за карантина его не пустили. Но мне и этого хватило для детского счастья. Вообще, всё, что связывало с домом, для меня было полно значения и смысла. Именно поэтому так дорожил своими, не казёнными вещами. Именно поэтому лучшим подарком стала поездка домой. Где я и встретил свой последний одесский Новый Год.

## Ах, необыкновенная Москва послевоенная

Для меня послевоенная Москва начинается с ноября 1946-го. Мы вернулись из Одессы. В тот же дом, в тот же двор. Здесь, между 5 и 6-м корпусами в войну выкапывали большие ямы — для мусора. После войны ямы засыпали. Боевой фронтовик, подвижник-мичуринец по фамилии Джуро превратил бывшую помойку в уютный скверик. Об этом даже "Вечёрка" сообщала. Мальчишки дразнили долговязого садовода: «Дядя Жура, покажи грамоту!» Простодушный старикан вёл нас к себе домой. В его комнатухе все стены были увешаны благодарственными бумагами за бескорыстное озеленительство.

Летом 1948-го посреди скверика устроили простенький фонтан. Но уже через год по случаю пушкинского юбилея фонтан забутили вровень с краями. Получился *стилобат*. На нём возвели *постамент*. И воздвигли *монумент*. Пушкин стоял в кругу деревьев, весь белый. Гипсовый. Скоро гипс посерел от непогоды и пыли. Поэта покрасили ядовито-зелёной защитной краской. Фонарей в скверике не было. Ночью на устрашающую фигуру падал только *московских окон негасимый свет*. Ветер тербил листву на деревьях. Она отбрасывала на поэта жутковатую, шевелящуюся тень. Неподалёку между деревьями висела, как теперь сказали бы, растяжка: «Спасибо великому Сталину за наше счастливое детство!»

Сейчас этот слоган вызывает такой же сарказм, как его анекдотический аналог: "Прошла зима, настало лето. Спасибо партии за это". А тогда я непрерывно крутил головой в поисках очастливленных. Не находил. Моё собственное счастливое детство кончилось, наверное, лет в шесть, как раз, когда мы вернулись в Москву. Довольно быстро я перестал воспринимать происходящее со мной и вокруг, как нечто вполне нормальное и единственно возможное. Уже не получалось не осознавать забот матери. Предстояло сообща выживать и воевать с убогим послевоенным бытом. Но детьми мы от этого быть не перестали.

Интересы тоже были вполне детскими. Ну, перво-наперво, кино, конечно. В клубе фабрики "Красная Заря" это удовольствие стоило либо 50 копеек, либо рубль. В выходной мать давала рубль на двоих. Надо было успеть ухватить в кассе дешёвые билеты. Иначе кто-то (чаще я, разумеется) оставался с носом. Правда, иногда удавалось уговорить сердобольную контролёршу или просто прошмыгнуть под её рукой. Конечно, не я один был таким пронырливым. Когда гас свет, целая орава кинозайцев рассаживалась прямо на полу перед экраном.

Из картин той поры запомнилось немногое. Мультфильмы и сказки, конечно. "Три поросёнка" (те ещё, от Диснея), "Руслан и Людмила", "По щучьему веленью" и т.п. Много раз смотрел "Тимура и его команду". А уж "Центр нападения" и вообще выучил наизусть, — как и составы футбольных команд.

Совсем недолго, от 8 до 10 лет, был страстным болельщиком. Покупал футбольные календари, знал расписание игр, слушал репортажи Вадима Синявского. Рядом был заводской стадион. Там по выходным с утра до вечера играли цеховые команды. Сидел и смотрел. Чем ниже был класс игры и чем хуже погода, тем интереснее было смотреть. Игроки скользили по грязи, счёт бывал двухзначным, а мне — забава. Но за "свою" ко-

манду мастеров, ЦДКА, переживал всерьёз. Особенно в октябре 1948-го, когда она упорно, с повторными матчами, выбивала чемпионство и кубок у динамовцев. Потом футбольные страсти прошли, как и пришли.

В конце концов, играть со сверстниками во дворе куда интереснее, чем смотреть чужой футбол или слушать про него по радио. Мы играли в лапту, в чижика, в колдунчики, да в те же прятки хотя бы. Смотря по тому, сколько нас собиралось. Реже учиняли мелкую шкоду. Подсадим на плечи большому кого поменьше, — чтоб дотянулся до рамы окна на первом этаже и воткнул в неё иголку с ниткой. На нитке — камушек. Сами станем под стеной и дёргаем за длинный конец нитки. Камень стучит в окно, жилец выглядывает, никого не видит и свирипееет, а мы радуемся. Или свяжем бельевой верёвкой двери противоположных квартир и позвоним в обе. А потом покатываемся со смеху. Двери-то открывались внутрь. Самая простая забава называлась *шляпа*. Построимся втихаря всей ватагой за мужиком в шляпе и идём за ним по улице. Тот ничего не подозревает, а мы корчимся от смеха. Да ещё наращиваем "хвост" на ходу.

Конечно, дворовая компания непрерывно менялась. Кто-то появлялся, кто-то уезжал. Но летом всегда находилось, с кем отправиться за три километра, на Серебрянку. Одному ходить на пруд несподручно: за вещичками некому приглядеть, да и страшновато, если плавать не умеешь. Бывало, наплещемся, а на обратном пути солнце припечёт, и мы разворачиваемся — на второй заход. Где теперь те приятели? — Я даже фамилий помню всего две-три. Борька Киреев как-то узнал меня на дороге, проезжая мимо на самосвале. Это было уже в 1963-м. Так совпало, что через месяц-другой я и сам рулил таким же самосвалом. Доходили кое-какие слухи о Юрке Алексееве: наши матери общались ещё долгие годы. Он умер в свои 39 лет. Пьяный

инсульт. Ещё один Юрка, Казаринов, выучился на машиниста и работал в метро. Остальных давно и навсегда потерял из виду.

Клуб "Красной Зари" запомнился ещё и своей детской комнатой. Здесь можно было лепить из настоящего пластилина, поиграть в настольный хоккей или детский бильярд, взять домой интересную книжку, посмотреть диафильмы и т.п. Но самое главное, отсюда нас возили на экскурсии. Впервые в жизни прокатился на корабле. Точнее, на речном трамвае. По каналу Москва — Волга. А однажды к зданию клуба подали роскошный автобус. Так я побывал в Ясной Поляне.

Но ярче всего помню наш налёт на кондитерскую фабрику им. Бабаева. Тут я впервые столкнулся с тем, что зовётся неумолимым словом *производство*. В заготовительном отделении невозможно было глубоко вздохнуть от резкого запаха эссенций. Как эти женщины могут здесь работать? Нечто подобное я испытаю в 1957-м, когда попаду в литейный цех ЗиЛа. Вот уж где ад наяву! Но пока нас долго водят по карамельным цехам. Не без умысла. Везде можно лопать карамель до отвращения. Зато потом, когда добрались до шоколада, на него уже глаза не смотрели. А с собой — ни-ни!

7 сентября 1947 г. праздновали 800-летие Москвы. Праздник мне понравился: мы почти не учились, и погода была хорошая. Рядом с домом построили дощатую сцену — аккуратно на наших бывших грядках. Кто выступал с этих подмостков, не помню. На другой же день их растащили: уж очень доски-сороковки хороши. Позже на этом же месте устроили качели. Когда праздник прошёл, я подумал: жаль, что до 900-летия так далеко. Утешился в 1997-м, на 850-летие.

Ровно через два месяца — снова праздник. Срочно пришлось постигать римские цифры. Иначе невозможно было расшифровать повисшие на домах призывы: «Да здравствует

XXX Октябрь!» Долго не мог взять в толк, почему этот трёх-крестовый октябрь отмечают в ноябре. Зато прочитал в какой-то книжке, какие бывают календари и откуда берётся високосный год. Впервые упёрся в усечённую речь. Все говорили: *в 17-м году, в 42-м году*. Но я-то родился в 1940-м! Или в 40-м? На мои вопросы взрослые что-то путано объясняли. А оказалось, длиннее — правильно, зато короче — быстрее.

В том же 1947-м заработал первый в стране газопровод, Саратов — Москва. Столица начала прощаться с плитками, керосинками, примусами. Конечно, не сразу. Сначала голубое диво появилось в капитальных старых и новых домах. Обитатели деревянных избушек и бараков могли в лучшем случае приобрести *керогаз*. Агрегат питался керосином, но горелка была очень похожа на газовую. Народ это чудо техники даже слегка воспел:

*В мире ни одна зараза*

*Не живёт без унитаза.*

*Потому я керогаз*

*Променял на унитаз.*

В 1948-м на площади Журавлёва открылся театр имени Моссовета. Тогда единственный не в центре города. Правда, потом он всё же переедет в центр, в здание за садом "Аквариум". Дом с колоннами станет телевизионным театром, а затем его и вовсе отдадут Электrozаводу под клуб. Совсем недавно я узнал, что здание на Журавлёвке было возведено на месте взорванной церкви. Может, оттого оно так и не определилось толком в своём назначении.

Я не мистик и к церкви отношусь без пиетета. Особенно с того дня, когда бабушка однажды сводила меня в ближайший храм, что на Преображенском валу. Молитвенное действо неудержимо смешило семилетнего мальчишку. Так что нам пришлось ретироваться, чтобы не навлечь на себя гнев прихожан.

С той поры терпеть не могу ритуалов. Живу атеистом. Верю в совесть. В то, что если её нет, то и счастья не бывать. В то, что если нагадишь ближнему или дальнему, то и самому несдобровать. Понимаю религию как важный этап в эволюции культуры. Этап пройденный, хотя исторически, несомненно, ценный. Исходя из этого, убеждён: взрывать храмы — варварство, а строить новые — фарисейство и пустая трата. Но никого в свою веру не зову. На то и свобода совести.

Первого мая 1949 г. впервые ходил на демонстрацию. Совершенно самостийно. Сначала примкнул к колонне карандашной фабрики и прошёл с ней от Малой Семёновской чуть ли не до центра. Дальше движение застопорилось: сюда стекались колонны со всего города. Кого-то пропускали, кого-то надолго останавливали. Радио потом скажет, что демонстрантов в тот день было больше двух миллионов. Я не стал дожидаться, когда нас пропустят. Примазываясь то к одним, то к другим, прошёл сквозь все кордоны и оказался на Красной площади. Чуть ли не в самой дальней шеренге. Кто там был на мавзолее, конечно, не разглядел. Но говорили, что вождь почтил. То был его юбилейный год. В декабре на Семёновской площади впервые поставили крупнейшую ёлку. А 21 декабря бурно отмечали вождёвое 70-летие. Елку загородили белым экраном. Приехал автобус с киноустановкой. На халяву можно было хоть до утра смотреть, как Сталину тяжело жилось в Туруханской ссылке. Еще года два газеты изо дня в день печатали, как роман с продолжением, *Поток приветствий*. Перечисляли поздравлянтов. Кто не успел, тот опоздал. Непоздравлянты трепетали.

Летом 1950-го в Москве начали торговать квасом. Пара лошадей притаскивала к нашим домам подводу с двумя огромными деревянными бочками. Рядом с кранами садилась необъятная тётка, к которой в жару выстраивалась изнывающая оче-

редь. Однажды я исхитрился заглянуть в порожнюю бочку сверху. В ней кишмя кишели мелкие червяки. Почему-то это меня от кваса не отвратило. Как не отвращает, например, от телевизора всякая чушь, которую по нему показывают.

Кстати, осенью того же, 1950 года я впервые смотрел телевизор. Чужой, конечно. КВН-49. Это не передача так называлась, а сам ящик. Все видели володинские "Пять вечеров" и знают, каково приходилось владельцам. Дверь не закрывалась. Приходили со своими табуретками. Уперто глазели на застывший серый занавес, который занимал половину экранного времени. Расходились только по команде диктора: «Спокойной ночи, товарищи!» Хорошо, что вещание кончалось не позже одиннадцати. На крышах заколосились телеантенны. У каждого своя. Коллективные сменяют их через много лет. У нас в семье "Рекорд" появится в 1960-м.

А в конце 40-х московские окраины — почти сплошь булыжно-деревянные. Кирпичными были фабрики-заводы, казённые учреждения да редкие жилые дома. Ближайшая асфальтированная мостовая — на Большой Семёновской. По ней ещё до войны ходил 5-й троллейбус. В войну его отменили, а провода сняли. Восстановили в 1954-м, уже как 22-й маршрут. В том же году вновь открыли всесоюзную выставку (ныне ВВЦ). Ближайшей к ней станцией метро оказалась наша "Семёновская" (тогда ещё "Сталинская"). Рядом с нашими домами проложили трамвайное кольцо для выставочного, 11-го маршрута. По оси Малой Семёновской и прилегающих переулков сняли булыжник и вырыли непонятную траншею. Пока я обретался в пионерлагере, уложили балласт, шпалы, рельсы и всё заровняли. Вернулся, а рядом с домом уже трамвай на круг поворачивает.

Мне нравилось смотреть, как ремонтируют булыжное покрытие. Его расковыривают ломом, камни складывают на тро-



туар, привозят и разравнивают песок, а затем ровнёхонько мостят заново, тем же булыжником. Сейчас это назвали бы безотходной технологией. Она же пригодилась и перед асфальтированием улиц. Бетонировать основание стали позже, на магистралях. Например, на Большой Черкизовской. Вдоль неё тянулся сквер, который разделяли трамвайные рельсы. По обе стороны сквера были проезды с булыжным покрытием. Застройка была сплошь деревянной. Сквер снесли, рельсы заменили, дорогу расширили и спрямили. Деревья посадили по краям. Позже сменилась и застройка.

Много хожу по Москве. Мне интересно, куда приведёт, например, какой-нибудь 44 или 36-й трамвай. Так мог дошагать до Автозавода, Богородского или Черкизова. Выпрошенные у матери 15 копеек берёт на обратную дорогу. Изнемогший и оголодавший, блаженно отдыхал, уже сидя в вагоне. В свои девять лет мечтал о едином проездном билете, — чтоб ездить, куда и сколько захочется.

Очень любил метро. Знал все его линии и станции. Ездил в Музей истории и реконструкции Москвы (был такой напротив Политехнического) смотреть довоенную перспективную схему. Грустно сравнивал её с тем, что есть. Действительность слишком явно отставала. Но кое-что строилось. Под новый, 1950-й год поезда пошли по первому участку кольца, от "Курской" до "Парка культуры". Поразил дневной свет. Особенно в переходе между двумя "Курскими". Люминесцентные лампы здесь спрятаны в боковых нишах. По первому впечатлению казалось, что свет в них приходит с дневной поверхности. В 1952 г. добавилась дуга до "Белорусской".

А вот замкнули кольцо не сразу. Потому что в эту пору московский Метрострой был отвлечён на архисрочную и поначалу даже секретную работу. Мне до сих пор неизвестно, зачем

тогда построили дублирующий, т.н. Новоарбатский радиус, от "Площади Революции" до "Киевской". Пассажиропоток на этом направлении тогда (да и сейчас) — не самый мощный в городе. Это подтверждается и тем, что старую линию, через "Калининскую" (ныне "Александровский сад") просто законсервировали. Её откроют вновь лишь через несколько лет, уже в составе Филёвского направления. Подозреваю, что глубокий дублёр — это то самое метро-2, о котором столько слухов. Оно должно было соединить центр с т.н. ближней дачей Сталина, а заодно стать подземным архитектурным памятником вождю. На внутренней стене наземного вестибюля новой "Арбатской" был его огромный мозаичный портрет. То ли случайно, то ли с умыслом получилось так, что при взгляде с поднимающегося эскалатора вождь на портрете выглядел, мягко говоря, малорослым. Хотя если смотреть не снизу, а прямо, то требуемая величественность фигуры была налицо. После антикультовых партсъездов мозаику разобрали. На месте того портрета возникло штукатурное бельмо.

[Моё подозрение по поводу метро-2 усилилось, когда открыли "Парк Победы". В конце 90-х из-за острой нехватки денег были остановлены и законсервированы почти все начатые выработки. И вдруг рядом с действующей "Кутузовской" появляется сверхдорогая, сверхглубокая, "двухспальная" станция, половина которой понадобится неведомо когда, а пока работает вхолостую. Видимо, метро у "ближней дачи" кому-то нужно и сейчас. Официальное объяснение — дескать, Филёвская линия не выдержит митинской нагрузки — неубедительно. Хотя бы потому, что в 1952-м ни о какой застройке Митина никто и думать не мог.

Я долго хранил журнал "Новый мир" за 1946 год. В номере было не только печально известное постановление о жур-

налах "Звезда" и "Ленинград" — сигнал к последующей травле Зоценко и Ахматовой. Для меня интереснее была статья о генплане Москвы, утверждённом в 1935 г. Она называлась, кажется, "Москва в 1950-м". Там упоминались хордовые магистрали (их и теперь нет), но даже намёка не было на МКАД, а тем более, на территории за МКАД. Ладно, пусть подземная загадка останется грядущему. Она ведь не самая важная для Москвы, которая интересна мне с детства.]

В 13 лет я научился ездить на велосипеде. На чужом. Хозяин, одноклассник среднего брата, разрешал пользоваться. Я и пользовался. Иной раз укатывал за десятки километров от дома. Часами, до изнеможения, колесил по городу. Просто любопытства ради. Знакомиться с Москвой удавалось куда быстрее, чем на пешем ходу.

Никаких схем и планов города тогда не продавали: секрет! Правда, у старшего брата был какой-то довоенный, потрёпанный, почти уже нечитаемый, зато очень подробный план Москвы. Вот он-то мне и сгодился. Умение ориентироваться в большом городе, обрётённое в детских походах и велозагулах, я оценил много позже, когда работал за рулём. Впрочем, я нечаянно забежал вперёд.

В 1946 г. голодную страну добивала засуха. Военную карточную систему пришлось продлить ещё на год. Её отменили 14 декабря 1947 г. Одновременно прошла денежная реформа. Не без хитростей. Бумажки стали другими, это понятно. А вот обмен... За 10 старых рублей давали один новый. Но зарплата осталась прежней. Цены чуть-чуть снизились. Вклады в сберкассе пересчитывали вообще как-то чудно: до 1000 рублей — один к одному, а остальное — один к десяти. Газеты объясняли: надо вывести из оборота необеспеченные бумажные деньги военной поры. В частности, фальшивки, брошенные врагом.

Ну, врага-то, разумеется, посрамили. А заодно и тех, кто не подсуетился положить свою последнюю предреформенную зарплату на книжку или раскидать накопленные две-три тысячи по разным сберкнижкам. Для меня же главная радость — хлеб теперь без карточек! Можно купить, на сколько денег хватит. И не мельчить свою долю, — чтобы не проглотить разом.

Но особо радоваться нам тогда не пришлось. На Москву реформа упала в разгар другой напасти. Разразилась эпидемия. Скарлатина валила детей, а сыпняк — взрослых. Я оказался в одной больнице, мать и старший брат — в другой. Чтобы средний не остался дома один, его увезла к себе в Малаховку тётка, сестра нашего отца, Раиса Михайловна. Добрейшая душа, она много лет, до самой пенсии, ездила на работу в Москву. Служила буфетчицей в той самой школе № 431, где учились все трое её племянников. Учителя за провинности иногда таскали нас к ней. Она сокрушённо выслушивала донос педагога, поддакивала, а потом наказывала нашкодившего родственничка... школьным обедом. Я любил гостить у неё, пастись в огороде, дёргать молодую морковную ботву, крутить патефон и вставать рано утром, — чтобы прокатиться на первой электричке.

Страна, как могла, не давала нам умереть с голоду. Мать где-то получала для нас талоны на УДП (усиленное дополнительное питание; в народе — *умрёшь днём позже*). Эти бумажки можно было обменять на общепитовские обеды в столовой при школе № 425, на Большой Семёновской (позже это здание стало частью МАМИ). Огромный зал харчевни был увешан липкими лентами, чёрными от приставших мух. Раздатчица глядела в наши голодные глаза и норовила добавить сверх нормы щей в наш бидон или каши в кастрюльку. В первые послекарточные годы это было совсем не лишним. Я помню, как мать рыдала, когда нечаянно, уже дома, уронила и разбила глиняный гор-

шочек с этим господаянием. С полу не подберёшь, а кормить нас ей в тот день было больше нечем.

В таком отчаянии я видел её ещё, пожалуй, лишь однажды. Как-то, вконец измотанная безденежьем, она отправила меня и моего среднего брата к своей не совсем бедной родственнице, практически за милостыней. Нам даже говорить ничего не пришлось. Пожилая родственница только глянула на нас и без слов повела кормить. Да ещё с собой полсотни дала. Понятно, что такие чапаевские налёты на ни в чём не повинную родню допускались только по крайности. А на УДП мы держались несколько лет. Одно время я таскался за ним уже в другую школу, № 426, на Борисовской. Потом ходил харчиться в профилакторий при тубдиспансере, на Преображенском валу. Да и у нас, в 431-й школе, тоже была подкормка для первоклашек. На большой перемене, после второго или третьего урока, учитель вносил в класс поднос с горячими бубликами. Надо ли говорить, что школьный день чётко делился на до и после. Где уж было думать об учёбе на фоне мечты о грядущем бублике.

Карточек не было, магазин не пустовал, очереди стояли, но никто не ломился за пресловутой красной икрой, по 180 руб. за кг (для сравнения: после смерти отца мы получали пенсию, 160 руб. на троих). В магазине было много интересного. Не только сверкающая касса 'National', с цифирью в обе стороны. И не только загадочное *толокно* или подозрительный *кофе жёлудёвый*. Я с любопытством изучал всё, что висело по стенам. Тут и *прейскурант*, и *обязательный ассортиментный минимум*, и *нормы отпуска в одни руки*, и зеркальная реклама Советского шампанского. Но больше всего меня занимала *схема разруба говяжьих туш*. Слова завораживали и дразнили: *филей*, *огузок*, *рулька*. Правда, покупателям предлагали только кости и почерневшие ошмётки.

Ещё больше удивляло другое. Почему-то самых нужных товаров на прилавках никогда не было. Например, хозяйственное мыло, постное масло, яйца и даже требуху продавали во дворе, через заднюю дверь. Там же перед большими праздниками торговали мукой и дрожжами. Очередь завивалась кольцами, как краковская колбаса. Очередисты сами себя нумеровали — чернильным карандашом на ладошках. Нумерация доходила до четырёхзначной. Одна из соседок, которую наша мать звала за глаза Шишигой, вечно торчала у окна на кухне и по шевелению возле магазинного подвала всегда первой чуяла: что-то привезли! Бежала занимать очередь. Не для нас, конечно. Мы отоваривались в общем строю. Единственное наше преимущество было лишь в том, что зимой можно было стоять посменно и видеть сменщика в окно. Когда очередь подходила к заветной двери, мы пристраивались всем личным составом: больше рук — больше дадут.

Меж тем ежегодно, перед майскими праздниками всё население в едином порыве бросалось отстёгивать родной стране месячную зарплату. Шла повальная подписка на очередной т.н. *заём восстановления и развития народного хозяйства*. Это вам не субботник: помахал лопатой — и домой. Цельный месяц в году все работали бесплатно. Самым неплатёжеспособным, вроде нашей матери, милостиво разрешалось подписываться только на половину оклада. Взамен все получали бумажки, по которым *кто-то кое-где у нас порой* кое-что выигрывал. Остальным: *ждите ответа*, в смысле, тиража погашения. Из года в год. Через десяток лет страна была вынуждена отдавать по займам больше, чем удавалось отнимать. Разницу покрыли самым распоследним займом, 1957 года. Продолжить отдавать долги по прежним займам пообещали через 20 лет. Живите дольше, ребята! Вам же теперь не придётся лишаться две-

надцатой зарплаты. Кажется, в конце 70-х было какое-то шевеление по старым займам. Обозначили намерение. Потом дело быстренько заглохло. Впрочем, нынешнее поколение с этой механикой тоже знакомо — по многолетней тягомотине с компенсацией советских вкладов.

Вряд ли люди знали, куда уходили деньги. Особенно, если иметь в виду непомерные по мирному времени военные траты. Но кое-что явно оставалось. Хотя бы для Москвы. Здесь строили не только ампирные высотки, но и дома для очередников. Например, неподалёку, на Щербаковской. В очереди на т.н. улучшение жилищных условий состояло, наверное, всё население городов. Мы числились в ней аж с 1940 г. Как проживавшие в нежилом помещении. В 1948-м, после неизбежного весеннего потопа, нас переселили в 11-метровую комнату на втором этаже, в том же доме 15/17 по Малой Семёновской, но уже в 1-м корпусе. Якобы временно. И втихую из очереди изъяли. О чём мать узнала только через 6 лет, в 1954-м. Пошла бить челом. Восстановили. Но с нуля. Годы через три предложили комнату побольше. Одну на пятерых, на три поколения. Тогда к нам из Загорска уже бабушка перебралась. Одна жить не могла: слишком стара стала.

Плотность населения возросла и ещё больше стала радовать наших ночных кровососов. Никакой ДДТ (это не музгруппа, а порошок от клопов, который дал ей название) их не изводил. Зато они изводили всю полубездомную страну. В календарях и местных газетах умельцы делились опытом борьбы за избавление — без прибавления жилплощади. Шпарить кипятком уже не помогало. Красные нахалы восходили по стене рядом с кроватью чапаевской цепью. Нужна была новая технология. И я её где-то вычитал. Под каждую ножку кровати поставил по консервной банке и налил туда воды. К утру все четыре ловуш-

ки были полны поверженными неприятелями. Но радость была короткой. Попались только стандартномыслящие. А истинные *клопо сапиенс* уже на следующую ночь парашютировали на меня с потолка. Ловушки остались пустыми. Теперь уповать можно было только на пониженную плодовитость интеллектуалов. Но у насекомых она вряд ли выражена, как у людей. Поразительно, но даже в 1981 г. я обнаружил эту живность под старыми обоями в почти новой кооперативной (!) чертановской девятиэтажке. И никакой скученности там не наблюдалось: в трёх комнатах жил одинокий старый художник со своими картинами.

От новой коммуналки взамен старой мы отказывались дважды. Переехали только в 1960-м. После 20 лет ожидания. Прошло почти полвека, но и сегодня первоочередными считаются ожиданты с 20-летним стажем. А тогда мы получили — всё на тех же пятерых — роскошную двухкомнатную малогабаритку (26 кв. м), с санузлом *гованна*. Смотровой ордер был невнятным. Из него забыли вычеркнуть ненужное в строке: *квартиру, комнату*. Удостовериться удалось только на месте. И правда, — квартира. В одной из *несносных* пятиэтажек.

Их никогда не снесут. Потому что они блочные, а не панельные. От которых отличаются так же, как кирпичные дома от картонных домиков. Широченный свалочно-строительный пустырь между двумя рядами домов назвали Сиреневым бульваром. Всего через полгода напротив открылась архинужнейшая... часовая мастерская. Автобус стал ходить через год. Булочную построили через два. Телефон поставили через пять. Сирень на бульваре посадили через пятнадцать лет.

Здесь мы прожили 60-е. Когда въезжали, наш дом 43 был первым на выселках. Сразу за Великим Грязным морем. Пятая Парковая прерывалась у его ближнего берега, чтобы возобновиться за дальним, уже в Северном Измайлове. На семи



ветрах, из которых шесть дули со стороны ближнего свиного хоза. *И здесь был город заложен.* Он назывался: *Каждой семье — отдельную квартиру.* Семьёй считалось население любой конуры в бывшей коммуналке. Количество поколений при этом не ограничивалось. В смысле, не учитывалось. Тогдашний вождь вроде бы позаимствовал идею фюрера. Тот задумывал строить бетонные муравейники для завоёванных аборигенов. Чтоб жили с минимальным комфортом, достаточным для размножения. Дабы было кому обслуживать завоевателей.

Так это или нет, теперь не важно. Переезжанты были счастливы. Как же: страна наградила их ордерами. За выслугу лет. В очереди *на улучшение.* Хотя были и такие, кто едва въехал, а уже снова метил в эту очередь. Знал я одно семейство, в среднем подъезде: пожилые родители, их старики и трое девок на выданье. Да и мы мало чем отличались: три поколения в двух каморках. Но я, по молодости, радовался тому, что есть.

Для начала, вне себя от этой радости, метнулся на рынок, а затем форсировал якобы бульвар — в обнимку с оконными стёклами. Потому что в одной из февральских комнат строители расколотили окно. Им-то оно, остеклённое, было уже ни к чему. Да и жэку тоже. Пришлось самому. Стёкол для новомодных бесфорточных створок в продаже не было. Те, что продавались, были короче. Спасибо журналу "Наука и жизнь". Он аккуратно в ту пору рассказал, как остеклить проём, который больше, чем надо. Видать, трудность была всесоюзной. Как и сам журнал в ту пору, с его миллионными тиражами. Таким же тиражом лети в мусор верёвочные дёргалки: удёргавшись до беспросветного счастья, заселенцы ставили нормальные выключатели. К весне интерьеры удалось довести до жилого ума.

Архитектурная ценность блочного параллелепипеда даже по замыслу была отрицательной. А исторически он интересен

мне разве что новосёлами первой волны. Ярче других запомнились почему-то инвалиды. Рядом с нами, в однокомнатной, — пожилая чета. У безногого Петровича из одежды была только вахтёрская форменка. Зато он ездил на работу в трёхколёсной мотоколяске Серпуховского завода. Того самого, который теперь *Оку* тачает. За особые воинские заслуги страна решила подарить Петровичу настоящий автомобиль. *Запорожець*. С мягким знаком. Петрович трижды мотался в ГАИ на экзамен. Дожал. Сдал. В тот же день его хватил удар. Помню, как он растапливался во всю свою малогабаритку. Лежит на спине, глаза моргают, а сказать ничего не может. В больнице он прожил всего два дня.

Соседнюю трёхкомнатную распашонку занимали Кольнееры, родители и их женато-замужние дети. В далёком 1949-м, в разгар борьбы с безродными космополитами, глава семейства, военный юрист, женатый на русской немке, естественно, ждал ночных пришельцев. Когда дождался, отнялись ноги. Увести его не смогли или поленились. Но с той поры — на попечении жены, в инвалидной коляске. У него уже при вселении был телефон. Тем, кто ему в этом завидовал, Кольнер советовал оторвать себе руки-ноги. Мы изредка заходили к нему, и не только по телефонной нужде. Мужик он был компанейский, балагуристый, любитель выпить, сыграть в карты и поматериться. Ещё один балагур поселился в дальнем подъезде. Абсолютно безрукий и непьющий, Игорь круглый год ходил в майке на обрубленном голом торсе. Торчал в открытом окне на первом этаже либо разгуливал по двору. Привечал и величал всех на *ты*. Разговор ни о чём был для него формой существования.

Когда в 1961-м моя мать вышла на пенсию, для неё формой существования едва не стала борьба с ветряными мельницами под нашими окнами. Власть ведь сама решала, что народу

нужно, где, когда и в каком количестве. Вот и благодетельствовала нас газетным киоском. Потом ещё и табачным. Чтoб почти круглосуточно: дверкой по ушам — раз, потом — два, да ещё с моторным взрёвом. Плюс лексика стадионно-курильная. Мать безуспешно воевала с властью против жизнеотъёмных киосков 24 года. До нового переезда. Киоски незаметно сгнули сами собой. Вслед за той властью, которая считала, что булочная не к спеху, а вот часовая мастерская — позарез и прям щас! [Окаывается, на подозрительное изобилие ломающихся часов и, соответственно, ремонтных забегаловок, обратил внимание не я один. В фильме "Два воскресенья" (Ленфильм, 1963) действие происходит в едва возникшем городке размером с хуторок, где для начала открылись аж семь часоремонтных заведений.]

Рядом с нашим домом построили институт со смешным названием *Резинопроект*. Когда здание только возводили, я летом подрабатывал на стройплощадке. Грел битум для паркетчиков и кровельщиков.

Напротив резиноконторы — невинная типовуха с очень даже винным магазином. Не магазин, однако, красит историю, а его заведующий. Палыч угодил под очередное хрущёвское обрезание вооружённых сил за полгода до военной пенсии. Из-за этого предстояло дорабатывать 13 лет до пенсии обычной. Позади у отставного майора — почти четверть века в охране сверхдальних казённых поселений. Отпуска и поездки в Москву выпадали не каждый год. Жена его работала вместе с моей матерью, в сберкассе. Мы, можно сказать, дружили семьями. Правда, без встречного интереса между тремя братьями, с одной стороны, и двумя сёстрами, с другой. Их отца я впервые увидел, кажется, уже гражданским.

Партия бросила его, говоря по-нынешнему, в горячую точку. Торговую. На укрепление этой самой точки честными ка-

драми. Укреплять довелось недолго. Ушлые коллеги быстренько проворовались. Ворованной денежкой, где надо, откупились. Под растрату выставили крайним, понятно, кого. Загремел Палыч назад, откуда приехал. На шесть лет. Стал жить-поживать по другую сторону колючей проволоки. Вернулся года через четыре. Каково ему там было, не сказывал.

Дочки его к тому времени выучились зубоучению. Практично выучились. Во всяком случае, младшей я доверялся в кресле безобморочно. Замуж сестрицы пошли столь же практично. Свою неброскую молодость одна поменяла на разницу в расстоянии (укатила *в даль светлую*), а другая — на разницу во времени (это когда тесть едва ли не моложе зятя). По возвращении Палыч ещё успел на свадьбу к старшей. Но до пенсии так и не дожил.

Северная граница Северного Измайлова — Щёлковское шоссе. Ближе к Никитинской — дом с магазином, который строился для Электролампового завода. Изрядная доля кирпичей и раствора, которые легли в стены, прошла через мои руки. Очередные каникулы провёл тут подручным у каменщиков. Но это уже другая пора, в которой время постепенно перестало распадаться в памяти на до- и послевоенное.



*Литературно-художественное издание*

А.С. Тыренко  
СудьбоНос  
За БЫЛЬЮ — БЫЛЬ

Текст публикуется в авторской редакции.

Сдано в набор 12.08.2008.  
Гарнитура «Академическая».  
Формат 60х84/16. Бумага офсетная.  
Тираж 500 экземпляров. Заказ № 89.

Препресс-агентство «Литкон»  
Тел. (499) 502-77-99  
Интернет: [www.litkon.ru](http://www.litkon.ru)

Отпечатано в 000 «ИПЦ "МАСКА" »  
Москва, Сушеvский вал, 47.  
Тел. (495) 604-43-42  
[www.maska.su](http://www.maska.su), [info@maska.su](mailto:info@maska.su)